

Вознесенская Юлия Николаевна

Утоли моя печали

Художественная литература 2025

Утоли моя печали

Вознесенская Юлия Николаевна

Утоли моя печали, утоли – Юлия Вознесенская

Утоли моя печали, утоли...

Они вышли из вагона, помогли друг другу надеть рюкзаки и зашагали по платформе по ходу поезда, и он тотчас за ними тронулся, обогнал их, набрал скорость и исчез в темноте; они стали осторожно сходить по оледенелым ступеням с платформы, держась один за правый, другой за левый поручень, спустились и направились гуськом по узкой тропе вдоль железнодорожного пути. Молча, друг за дружкой прошли они с полкилометра до переезда; тут тропа влилась в грунтовую дорогу, сейчас заснеженную и раскатанную машинами; они свернули по ней направо, в лес, стоявший стеной прямо метрах в ста от насыпи железной дороги. Шли теперь рядом, но все равно молчали. Луна освещала разъезженное полотно дороги и лес по обочинам, под ногами скрипел снег да изредка хрустели льдинки в колеях. Они уже прошли с километр, как позади что-то страшно и тоскливо взвыло:

— У-уйди-и-и!

— Что это, Митя? — спросил Яков, вздрагивая и оглядываясь.

— Да это ж поезд, Яша! Он всегда в лесу так страшно кричит, — ответил Митя.

— Это встречный, должно быть?

— Он самый.

— Зря я с тобой поехал. Ну да теперь все равно, на обратный поезд мне уже не успеть.

— Да, не успеешь, — согласился Митя. — А следующий только завтра.

— Во сколько?

— Да в это же время. У нас тут один поезд на Москву по будням ходит и два в воскресенье, утренний и вечерний.

— Понятно... Зря я поехал.

На это Митя ничего не сказал. Поезд простучал позади и затих. И тут же заухал потревоженный им филин: «Охо-хо-хо! Охо-хо-хо!». Ему поддакнул сыч: «Угу, угу-гу-у! Угу, угу-гу-у!». Потом все снова стихло, остался только скрип снега под ногами.

Неприятная какая тишина, — поежился Яков. — Будто на кладбище.

Митя тихонько запел что-то монастырское, восторженно-тягучее, с припевом «Радуйся, Радосте наша, избави нас от всякого зла и утоли наша печали!»

— Мить, а ты помнишь, давным-давно была песня с похожими словами? — И Яков тихонько запел:

Утоли моя печали, утоли!

Как молитвы, улетают журавли,

Прямо в небо отрываясь от земли!

— Не помню... А ты пой, пой дальше, Яша, может, и я вспомню!

— Я дальше не помню. Слова запоминающиеся: «Утоли моя печали». А откуда это?

— Это, Яша, название иконы Пресвятой Богородицы — «Утоли моя печали». Есть такая чудотворная икона в Москве. А у нас в монастыре имеется ее список.

— Список — это копия?

— Ну да.

— И она что, тоже чудотворная? — с едва заметной усмешкой спросил Яков.

— Не знаю, Яша. Люди говорят, помогает...

— Утоляет, значит, печали?

— Утоляет. Если кто с верой молится.

— А если веры нет — не утоляет? Вот мне.

— Как это «веры нет»? Ты разве в Бога больше не веруешь, Митя?

— В Бога-то я верую... Я в Божью справедливость не верю, Яшка.

— Вон оно как...

— А ты скажешь, что Бог справедлив? — Ну...

— Да как же Он справедлив, если забрал от меня мою Ийку? Ведь она для меня была все на свете!

— Да, ты ею жил и дышал, Яша. Она чудная была, твоя Ия.

— Таких ведь больше и нет. Я как только имя ее необыкновенное услышал — Ия, так и понял, что это чудо мне явилось, а не девушка. Так ведь теперь и не называют никого — Ия!

— Редко, но все-таки называют, в святцах-то имя стоит. Ия по-гречески значит «фиалка».

— Это я давно узнал и звал ее Фиалкой. Весной у нее на могилке, если жив буду, фиалки посажу... Фиалочка моя тихая...

— Да, сокровенной красоты и тишины была женщина.

— А ты знаешь, Митька, ведь Ия никогда не хохотала! И вообще смеялась очень редко. А вот улыбалась — постоянно. Каждая фраза у нее начиналась с того, что сначала ее губы чуть-чуть улыбались, а уже потом она произносила какие-то слова. Сколько раз заговорит со мной — столько раз и улыбнется. Вот скажи, почему твой Бог забрал ее у меня? Ему-то она зачем понадобилась? Митя не ответил, только вздохнул.

— И даже детей у нас не было! — продолжал Яков. — Если бы у меня от Ии хоть ребенок остался...

— Ты все думаешь только о себе, Яша.

— Как тебя понимать?

— Вот жалеешь, что детей у вас не было: а ты подумал, каково было бы Ие, умирая, зная, что ее ребенок останется наполовину сиротой или у него мачеха будет?

— Да, об этом я не думал... Так что же, Бог потому и не давал нам детей, что собирался Ию у меня забрать?

— Не знаю, Яша. Но так ведь лучше, что без детей?

— Не знаю, не знаю... Я только одно знаю: злобные, жадные и развратные телки почему-то живут и процветают, а Ийки моей нет — «Бог взял»!

— А ты спроси наоборот, Яша.

— Как это — наоборот?

— Ты спроси, зачем Он тебе ее дал?

— Почему это мне ее Бог дал? Я сам себе жену нашел.

— Как же, как же! Помню я, каких девиц ты до Ии в подружки себе находил!

— Лучше не вспоминай, брат.

— И то верно. А как ты ее встретил, помнишь?

— Случайно встретил.

— У Бога в таких делах случайностей не бывает, Яша. Так ты помнишь?

— Помню, конечно! Еду я по делу, проезжаю по пустому шоссе и вдруг вижу — девушка сидит на обочине и плачет, а рядом велосипед лежит. Время у меня в запасе было, я даже чересчур рано в тот день выехал, а на место надо было явиться в точное время, ну я и остановился — посмотреть, может быть, помочь немного и дальше ехать. А у девушки колесо восьмеркой и нога в крови! Глянул — а у нее перелом! Ну и пришлось спасать-выручать. Велосипед я пристроил на крышу, а Ию поднял, посадил в машину и повез в ближайший поселок, в больницу. По дороге мы познакомились, поговорили друг с другом — и я пропал.

— Пропал?

Яков на это ничего не ответил, но остановился вдруг и достал сигареты и зажигалку.

— В монастыре ведь курить нельзя?

— На территории — нельзя. Но можно за ворота выйти, если невтерпех.

— Ну, я лучше тут покурю, а там видно будет. Яков закурил и снова двинулся в путь.

— А ты знаешь, Мить, куда я в тот раз ехал,

когда Ию встретил?

— Откуда мне знать, если ты никогда не говорил? Я только видел, что после встречи с Ией ты как-то сразу другим человеком стал.

— Еще бы не стать... Ну, слушай, теперь уже можно рассказать тебе, как она мою жизнь враз переменяла. Ехал я в тот день на крутую разборку и из-за Ии опоздал. А потом я узнал, что из нашей «бригады» с этой разборки никто в Москву живым не вернулся. И на этом все мои «крутые дела» закончились, потому что в Ию я влюбился сразу и наповал, и с нею у меня началась совсем другая жизнь.

— Этого я не знал, Яша. И что же, после этого признания ты скажешь, что Ию тебе не Бог послал?

— Ты хочешь сказать, что это не Ия меня тогда спасла, а Господь через Ию?

— Именно это и хочу сказать.

Ты знаешь, братец, а ведь похоже на то... Тогда почему Он ее у меня в конце концов отнял, если Сам дал?

— Откуда мне знать, Яша? Это ты у Него спрашивай.

— Да я все время только о том и думаю — почему? За что? Почему именно Ия должна была умереть? Нет, несправедливо это! Немилосердно! Не по-божески как-то, уж простите меня вы оба — и ты, и Бог!

Яков закашлялся и со злобой швырнул недокуренную сигарету в сугроб на обочине. Окурочок зашипел и погас.

— Яш, а вы сколько лет с Ией прожили?

— Двенадцать.

— И все время были счастливы?

— Все двенадцать лет прошли как один счастливый день!

— И к вере ты пришел, и крестился, и обвенчались вы — это ведь все благодаря Ие?

— Конечно!

— Двенадцать лет сплошного счастья. А ведь большинству-то людей семейного счастья и на год едва хватает.

— Да, теперь у большинства это так.

— Ну вот... Но даже не это главное, Яша! Судя по всему, должен ты был в день твоей встречи с Ией погибнуть. Ведь убили бы тебя, если бы ты не повез ее в больницу и там не застрелял?

— Наверняка убили бы.

— Так что в тот день ты должен был умереть. Причем некрещеным и нераскаянным грешником, убийцей, может быть.

— Уж кого-то определенно уложил бы, я ведь с волиной ехал.

— Видишь, как тебя спас и одарил Господь через Ию! Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Он тебя, лютого грешника, остановил на самой дороге к гибели. И не суровостью остановил, а семейным счастьем на двенадцать лет. И ты после этого будешь утверждать, что Господь несправедлив?

— Не знаю, Яшка, что тебе и сказать — я как-то в этом вот ключе обо всем и не думал. Так ты считаешь, что Господь послал Ию, чтобы спасти меня?

— Мне так кажется. Ведь Ия умерла только тогда, когда ты уже твердо стал на правильный путь.

— Твердо стал! — Яков резко остановился, и от этого движения нога его скользнула по обледенелой колее и он чуть не упал. Митя поддержал его.

— Ну, все мы спотыкаемся, а то и падаем, Однако идешь ведь ты за утешением в святой монастырь, правильно идешь, а мог бы отправиться утешаться в кабак или на какой-нибудь там Кипр.

— Так, по-твоему, справедлив Господь? Мне так не кажется...

— И мне тоже! Нет, не справедлив наш Господь! Совсем не справедлив!

— Ты чего это несешь, Митька? Ты уж мне не подпевай, пожалуйста, брат, ты все-таки послушник, тебе нельзя...

— Можно, можно, Яшенька! Я еще и еще раз тебе повторю: не справедлив наш Господь! Милосерден Он. И милосердие его не только выше всякой справедливости, но и выше нашего с тобой понимания!

— Ты думаешь? Ну, не знаю... Подумать надо.

Какое-то время прошли молча.

— А это что такое? — Яков внезапно остановился. Морозный воздух над дорогой, над лесом, в самом лесу и в светлеющем небе вдруг охнул и загудел. Раз... Другой... Третий... — Это колокол, что ли?

— Да, это колокол наш монастырский. Давай-ка, Яша, поднажмем, чтобы на службу успеть.

Монастыря еще не было видно за лесом, но в той стороне, откуда звучал благовест, уже угадывался просвет между деревьями, и в этом просвете небо засветило и порозовело — начинался восход.

Они заторопились. К большому колоколу присоединились малые, и в их перезвоне Якову явственно слышалось: «Утоли моя печали, утоли!.. Утоли моя печали, утоли!..»

Я строю небесный дом для любимой...

...И вот она ушла далеко-далеко, в те края, где уже нет ни горя, ни слез, ни болезней. С больничной кровати она поднялась, легкая, помолодевшая, и, конечно, первое, что она ощутила, — это полное и абсолютное отсутствие боли. Я почувствовал это, потому что держал ее за руку в ту таинственную минуту, которую мы на земле называем «смертью». На самом деле, как я теперь понимаю, это что-то совсем-совсем другое.

Мы знали оба, что она уходит, что страшную болезнь победить невозможно. Мне хотелось удрать, спрятаться, исчезнуть — сбежать от жены, чтобы где-то в стороне от ее мучительно-тихой белой палаты, от капельниц, от деловитых сестер, от увядающих в вазах ненужных цветов, принесенных нашими друзьями и родственниками, от скорбного и мучительного ожидания неизбежной минуты расставания, — от всего этого уединиться и просто завывать, напиться, выкричать свой ужас, протест и горе. Но уйти из палаты мне было некуда, а вернее — нельзя...

Как трудно любить, когда, кажется, совершенно нечем проявить, доказать, выказать свою любовь! Не нужны уже ей были ни редкие дорогие лекарства, ни подкрепляющие деликатесы, ни ложные надежды. Ничего ей было не нужно — только моя любовь. Это я видел по ее гаснущим глазам — говорить она уже не могла, только чуть-чуть шевелила губами и иногда пыталась улыбнуться мне. Если я видел тень ее улыбки — я сразу же улыбался ей в ответ и говорил о своей любви.

Приходил священник, иеромонах отец Алексей из ближайшего к больнице монастыря. Он соборовал ее, ей стало чуть легче: видимо, боли перестали так мучить ее, она уже не смотрела на сестру, приходившую делать обезболивающие уколы, с таким напряженным ожиданием. Она даже сделала однажды знак — «Не надо укола!», но сестра все равно ввела обезболивающее по расписанию, у них был свой порядок. Отец Алексей пришел еще раз, читал молитвы над женой, что-то ей говорил — напутствовал, наверное: я на это время вышел из палаты. Потом он позвал меня и причастил ее уже при мне. Она сразу же спокойно уснула. Мы вышли с ним в коридор.

— Батюшка, хоть что-нибудь я могу сейчас для нее сделать? — спросил я.

— Можете. Молитесь.

— А еще?

— Окружите ее своей любовью, как облаком. Забудьте о себе, о своем горе — потом отгорюете, а сейчас думайте только о ней, поддерживайте ее. Помните, умирать — это нелегко и непросто! Да укрепит вас Господь. — Он благословил меня и ушел.

После этого разговора я старался перестать думать о себе. Если подступали ужас, тоска, отчаянье — я обрывал свои мысли и глушил чувства батюшкиными словами: «Потом отгорюешь! Сейчас думай только о ней!»

Я старался чаще прикасаться к ней: отирал пот, смачивал водой ее постоянно пересыхающие губы, что-то поправлял и как можно чаще целовал легонько — ее лицо, лоб, бедную облысевшую головку, ее исхудавшие голубоватые руки... Мы много разговаривали. Вернее, говорил я один, а она слушала. Я вспоминал милые и смешные эпизоды из нашей жизни, вспоминал подробно, не торопясь, со всеми деталями. Я даже пел ей тихонько песни, которые мы когда-то любили. А когда я уставал говорить, то ставил какой-нибудь диск с хорошей

спокойной музыкой, с книгами. Ей нравилась запись пушкинской «Метели» в исполнении Юрского, с музыкой Свиридова. Мы ее слушали раз десять, не меньше. Отец Алексей тоже оставил мне диск — монастырские песнопения о Божьей Матери. Сначала я боялся его ставить — вдруг она испугается, услышав монашеское пение, но однажды решил попробовать. Она слушала спокойно, лицо ее как-то посветлело, а когда пение кончилось, она посмотрела на меня выжидающе напряженно — и я понял, что она хочет услышать все с начала. Потом я купил еще несколько таких же дисков в монастыре, с другими песнопениями. А еще, запинаясь на незнакомых словах, я читал молитвы по молитвеннику, который мне оставил и велел читать жене отец Алексей. Она их слушала с тем же просветленным лицом, что и монастырские песнопения, хотя ничего такого особенного в моем неумелом чтении не было. Но молитвы ей явно помогали. Да и мне они помогали тоже.

Уходила она тихо, поздним вечером. Сначала, на очень короткое время, я даже не успел испугаться как следует, она вдруг задышала трудно, с хрипом, а потом стала дышать уже тише и все реже... реже... реже... Я держал ее за руку и молчал. И вот, когда перерывы между вдохами стали совсем редкими, она вдруг выдохнула, — а вдоха я уже не дождался. Все в ее лице остановилось, рот приоткрылся, и я понял, что душа ее покинула тело. Вдруг я ощутил в наступившей полной тишине какое-то смятение, что-то похожее на страх, заполнивший маленькую палату до краев. И тут я нашел правильные слова — или кто-то мне их подсказал.

— Любимая моя, не бойся — я с тобой! — сказал я тихо. — Я знаю, что ты здесь, что ты слышишь меня. Я люблю тебя, милая моя, как любил — так и люблю! Я знаю, что это тело — не ты. Я любил его, я привык к нему, и я буду, конечно, плакать и горевать над ним, ты уж прости меня. Но я знаю, что настоящая ты — не бедное это тело, на которое мы с тобой сейчас оба смотрим. Ты — не в нем, но ты здесь. Не бойся ничего, только молись как умеешь. Просто говори: «Господи, помилуй!». И я тоже буду молиться о тебе, дорогая. Вот прямо сейчас и начну!

Отец Алексей заранее посоветовал мне купить «Псалтырь» на русском языке, церковно-славянского я тогда не знал, и велел сразу после «отшествия души», как он выразился, начать читать «Псалтырь» — и читать по возможности до самых похорон. «Это очень важно, это будет огромная помощь ее душе!» — сказал он. Палата у нас была отдельная, заплачено за нее было вперед, и потому мне разрешили остаться с моей женой до утра, не увезли ее сразу. Я сидел и читал вслух псалмы, и мне казалось, что она прильнула к моему плечу и внимательно слушает.

Предпохоронная суета и сами похороны заняли меня полностью, и я не знаю, что было бы со мной, если бы у меня оставалось хоть какое-то свободное время. Но у меня его совсем не было: я читал «Псалтырь» каждый свободный час, а когда выдавались только минуты свободные — читал молитвы. На отпевании и во время похорон я молился беспрерывно и... продолжал говорить ей о своей любви.

Поминки прошли очень спокойно и были недолгими. Когда моя и ее мать начали убирать стол после гостей, я сразу же принялся читать «Акафист за единоумершего» — как велел мне делать каждый вечер отец Алексей в течение сорока дней. Дочитав со слезами акафист, я, наконец, свалился и крепко уснул.

На следующий день я проснулся с ощущением пустоты во всем теле, в мозгу, в душе — и во всей моей жизни. «Вот оно, начинается...» — подумал я. Хотел ехать на кладбище, но по дороге раздумал и поехал в монастырь. На мое счастье, отец Алексей в этот день успел уже посетить больницу, мы с ним встретились и с полчаса ходили по монастырским дорожкам и разговаривали.

— Кончину вашей супруге Господь даровал христианскую, непостыдную, а болезнь, с кротостью переносимая, послужила ей к очищению от грехов. Будем надеяться, что она в Раю. Но кто из нас свят? Поэтому помните, что на вас лежит устроение вечной жизни вашей жены и там. Помогите ей сейчас обустроить свой вечный дом!

— Чем, как? Что я могу теперь, батюшка? Это здесь я мог работать для нее, квартиру купил...

— Помогайте молитвой, милостыней и добрыми делами, творимыми во спасение ее души. Заказывайте сорокоусты, подавайте поминания в монастырях и храмах. Вы были хорошим мужем для вашей жены на земле, продолжайте же им быть и теперь, когда она ушла из этой временной жизни. Помните о том, что вы встретитесь в Вечности. И как же хорошо будет, когда ее душа приблизится к вашей душе, просияет от радости и скажет: «Спасибо за все, что ты для меня сделал не только на земле, но и здесь. Какой чудесный дом ты для меня построил своими молитвами и добрыми делами!»

Я думал весь этот день до самого вечера. Ходил по Москве, заходил в храмы, ставил свечки, заказывал сорокоусты и поминания... Вечером я прочитал опять «Акафист за единоумершего» и решил: буду строить для жены дом, как сказал отец Алексей!

И я начал строить небесный дом для моей любимой. Я объехал и обошел все монастыри Москвы и везде заказал годовые поминания об усопшей рабе Божией Анне. Нищим я подавал только мелочь — кто их разберет теперь, этих нищих... Зато когда видел по-настоящему бедную старушку в храме, то подходил к ней, давал уже приличные деньги и просил молиться за новопреставленную Анну. Я нашел людей, которые помогают онкологическим больным детям, и тоже начал участвовать в этом добром деле. А потом мне крупно повезло. Совершенно случайно я узнал адрес бедного прихода, строящего храм в деревне М-ке, под Тулой, и стал посылать туда деньги с просьбой молиться о моей жене, а летом, во время очередного отпуска, поехал туда и помогал стройке своими руками. И сорок дней я каждый вечер читал «Акафист за едино умершего», заменяя «его» на «ее», хотя отец Алексей мне ничего об этом не сказал — так мне на сердце легло.

Иисусе, верни душе ее благодатных силы первозданный чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя ее добрых дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственной отрадою.

Иисусе, Судие Всемиловитый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Потом стал читать реже, обычно по субботам, а еще в годовщину нашей свадьбы и в ее день рожденья.

Прошел год. Выйдя из храма после панихиды в первую годовщину смерти, я шел в раздумье. Вот и год прошел... Жизнь незаметно стала входить в какую-то новую спокойную колею. И только тут я вспомнил, что собирался после смерти жены полностью отдаться своему горю, выплакаться-выкричаться-напиться, впасть, быть может, в какой-нибудь загул с тоски. А ведь ничего этого не было! Да я даже и не вспомнил ни разу о своем «отложенном горе»... Горе было, но оно сливалось с молитвой, с постоянными мыслями о любимой, с заботами о ее посмертной судьбе, да и просто некогда мне было с ума сходить от горя — надо было ей помогать! А это значило — помогать другим, тем, кто нуждается в помощи. У меня не было времени думать о себе, несчастном, потому что я продолжал весь этот год думать о ней, о ее душе. Я хотел помочь спастись ее душе — а спас, сам того не ведая, и самого себя!

Я часто размышляю о том, в каком состоянии сейчас находится строительство небесного дома для моей любимой. Построил я только фундамент дома или он уже возведен под крышу? Но

как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь, я все равно эту стройку не брошу...

А на нашем храме в деревне М-ке уже возводятся купола и скоро будут установлены кресты.

Вдвоем на льдине

Маленькая летняя повесть

Конференц-зал клиники при Институте детской онкологии находился на первом этаже, где не было больничных палат, только приемный покой и кабинеты; располагался он далеко от вестибюля, а потому никогда не запирался; впрочем, в те мирные и смирные годы больницы еще не грабили; да и нечего было воровать в конференц-зале, разве что дорогой концертный рояль, но кто бы его протащил, хоть и был он на колесиках, через длинный коридор первого этажа, мимо приемного покоя и канцелярии, к выходу? Родители Романа Осина заранее, перед тем как сдать его на лечение, договорились с профессором Д. А. Приваловым, главой клиники, что их сыну, знаменитому юному пианисту, «второму Моцарту», как они его деловито аттестовали, разрешат упражняться на рояле по вечерам, когда врачи и сотрудники разойдутся после работы и зал уже точно никому не понадобится. Это было еще до того, как ему был поставлен зловеший диагноз — саркома Юинга и сделана операция на плечевой кости; вскоре после операции у него обнаружили метастазы в легких, и только тут родители заподозрили, что великим музыкантом их сыну уже не стать.

Теперь, приходя на свиданья, они перестали ему напоминать о необходимости тренироваться каждый день, и Роман уже не упражнялся часами, а просто приходил играть в зал по вечерам в поисках одиночества и играл что-нибудь не слишком сложное по технике, с чем еще справлялись его отекавшие от химиотерапии руки. Приходил он сюда и в те выходные и праздничные дни, когда никто из родителей не собирался к нему приезжать: они посещали его все реже, ссылаясь на занятость, концерты и гастроли. Он не винил их, он их понимал: они измучились и устали от его болезни и своего горя. Их, людей известных, всегда успешных и во всем благополучных, внезапно свалившаяся беда почему-то унижала и оскорбляла, а потому они старались жить как жили прежде, до беды, делая вид, что ничего особенного не случилось: сын тяжело заболел, но это надо пережить мужественно и стойко, как подобает сильным духом людям. Да и младшая сестренка Людочка, обучавшаяся игре на скрипке, хорошенькая и послушная, теперь тоже явно подавала надежды, и родители перенесли свои честолобивые ожидания на нее и даже начали включать Люду в свои концерты – готовили из нее новую семейную знаменитость.

А к Роману два раза в неделю, в среду после обеда и в субботу утром, приезжала домработница Катя: она привозила ему свежее белье, книги из домашней библиотеки по списку, молочные продукты, соки, фрукты и какую-нибудь домашнюю еду по его заказу. Хотя в клинике института кормили очень даже неплохо, но так распорядились родители. Распорядились и успокоились: сын обеспечен в больнице всем необходимым.

В тот день Роман сидел и играл все, что приходило на память. Когда он уселся за рояль, было еще светло, но вскоре начало смеркаться. Встать и идти включать свет ему не хотелось, и он продолжал играть в сумерках, только музыка становилась все грустнее...

– Пожалуйста, не надо это играть! – раздался вдруг тихий жалобный голос. – Вот это, такое грустное – не надо!

Он вздрогнул, оглянулся и в проеме приоткрытой двери увидел на фоне светлого коридора невысокую и тонкую серую фигурку, как ему показалось, детскую.

- Ну, так иди сюда! Я сыграю тебе что-нибудь другое, а ты послушаешь, - приветливо сказал Роман, жалевший всех детишек, лежавших в онкологии.

Фигурка направилась к нему. Когда она подошла совсем близко, Роман из-за коротких волос, торчавших ежиком, сначала не понял, девочка перед ним или мальчик, но потом разглядел мелкие цветочки на халате и понял - девочка. В клинике все ходили в казенных халатах: девочки в цветастых, мальчики в серых и коричневых.

- Так ты не любишь грустную музыку? - Он смотрел на нее, ожидая ответа.

- Иногда люблю, но сегодня - нет, - пояснила девочка. - Сегодня грустный день, а от этой музыки он становится еще печальней.

- Правильно. Эта вещь так и называется - «Печаль королевы», композитор Генри Пёрселл. А какую музыку ты любишь?

- Всякую разную. Только я имен композиторов не запоминаю.

С девочкой все стало ясно, но презирать ее невежество Роман вовсе не собирался, ведь она такая же больная, как и он, и, может была тоже обреченная.

— Я почти каждый вечер прихожу сюда и слушаю, как вы играете.

А вот это было уже что-то совсем неожиданное.

— Так почему же вы не заходите в зал, если вам нравится музыка? — Роман уже разглядел, что девочка, похоже, его ровесница, то есть почти девушка, а потому перешел на «вы», поскольку был юноша воспитанный.

— Я стесняюсь, — пояснила девушка.

— Ну так больше не стесняйтесь! — улыбнулся он ласково. — Просто проходите в зал, садитесь и слушайте.

— Тогда можно я постою около рояля? Мне кажется, тут как-то больше музыки.

— Наверное, больше, — согласился Роман, снова улыбнувшись. Девушка встала рядом и облокотилась на крышку рояля.

— Так какая же музыка вам все-таки нравится? — спросил он. — Есть у вас какая-нибудь любимая вещь?

— Есть. Колыбельная Умки.

— Что, простите?

— Да колыбельная же, которую мама-медведица поет Умке! Вы что, не знаете?

Роман не знал.

— Ну песенка из мультфильма «Умка»!

— А вы можете ее спеть?

— Могу, конечно! — И она запела без всякого стеснения:

Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не спишь?
Спят твои соседи —
Белые медведи,
Спи скорей и ты, малыш.

Голосок у нее был слабый, но верный, и Роман принялся тихонько ей аккомпанировать. Услышав аккомпанемент, она заулыбалась, голос окреп, и она допела до конца:

Мы плывем на льдине, Как на бригантине, По седым, суровым морям. И всю ночь соседи,
Звездные медведи, Светят дальним кораблям.

— А славная песня, — удивленно сказал Роман и пропел:

Мы плывем на льдине, Как на бригантине, По седым, суровым морям...

Дальше он не запомнил. Она захлопала в ладоши:

— А говорили, что не знаете! Вы и поет, так же хорошо, как играете.

— Ну что вы, гораздо хуже! — засмеялся Роман.

— Совсем, совсем наоборот — гораздо лучше! — горячо возразила девушка. Ко нечно, она сказала глупость, но Роману было приятно.

— А что же мы с вами разговариваем, песенки вместе поем, а познакомиться до сих пор не догадались? Меня зовут Роман Осин, а вас?

— Юля Качуркина. А у вас какой рак? Вот этого вопроса в лоб Роман уж никак не ожидал, это было не принято между больными постарше, но все-таки он ответил:

— У меня саркома Юинга.

— У нас в палате у двух девочек тоже саркома Юинга. А у меня редкая опухоль — астробластома. Слыхали про такое?

— Нет, не слыхал.

— Вот видите! — сказала Юля как будто даже с некоторой гордостью. — Это такая опухоль в голове.

— Вот как... Печально... А название даже красивое: «астра» — это ведь значит «звезда».

— Черная звезда в голове, — вздохнула Оля — Подходящее название — от нее меня часто темнеет в глазах. Мне, наверное, будут делать операцию, а потом облучать. Но сначала надо уменьшить опухоль лекарствами чтобы она стала операбельной. А вам будут делать операцию?

— Мне уже сделали. Поэтому я так плохо играю.

— Вы — плохо играете?! — Юля засмеялась. — Я еще в жизни никогда не слышала, чтобы обыкновенный живой человек так замечательно играл! По радио хорошо играют, но ведь это не

то... У нас в классе некоторые девочки занимаются в музыкальной школе, но вы играете гораздо лучше, честное слово! Жаль только, что я ничего не понимаю в музыке. Но можно я всегда буду приходить и слушать? Я буду тихо сидеть, не стану мешать.

— Конечно, приходите. А хотите, я вам буду не просто играть, но и рассказывать о музыке?

— Да нет, зачем это мне?.. Ой, нет! Хочу, конечно, хочу! Пусть будет музыка с рассказами о ней! — И закончила совершенно неожиданно: — А то я по вечерам все время одна.

— Договорились. Приходите завтра вечером снова.

— Завтра воскресенье...

— Ну и что? Или к вам кто-то придет вечером?

— Нет, ко мне и днем почти никогда не приходят... Просто я подумала, что завтра не будет обхода и процедур, и мы могли бы днем погулять в саду, и вы бы мне что-нибудь про музыку рассказали... А вечером я бы пришла сюда слушать, как вы играете.

— Прекрасно, вот так мы и сделаем! Отправимся на прогулку сразу после завтрака Хорошо?

— Хорошо. А вы на каком этаже лежите?

— На втором. Двенадцатая палата.

— А я на третьем, в двадцать четвертой, Жалко, что мы не на одном этаже, а то бы ходили в одну столовую. И телевизор тоже могли бы вместе смотреть...

— Да, жаль, — сказал Роман, телевизора не любивший. — Так я буду вас ждать в вестибюле сразу после завтрака.

— Я обязательно приду!

* * *

— Прохладно сегодня! — заметил Роман, когда они вышли на крыльцо.

— Это с утра! Потом разогреет! — быстро сказала Юля. На ней был болоньевый плащик защитного цвета, из-под него торчал больничный халат, а из-под халата — синие спортивные брюки; на голову до самых бровей была натянута красная вязаная шапочка, заканчивающаяся острым уголком с кисточкой; сбоку резинка шапочки была собрана на большую английскую булавку — для красоты, что ли? На ногах у Юли были толстые вязаные носки и все те же больничные тапочки, номера на три больше, чем надо. Сам Роман был одет куда основательней: американские джинсы, кожаная итальянская куртка, под ней толстый шотландский свитер, добротные английские уличные ботинки — все привезено с гастролей.

— Но вообще-то нам холод полезен! — сказала Юля, заметив, что он с сомнением оглядывает ее наряд. Роман улыбнулся: среди больных ходила такая легенда, будто холод останавливает рак, он о ней слышал. Именно на нее он и ссылался, уговаривая соседей по палате не закрывать на ночь хотя бы форточку: самого его родители с детства приучили спать с приоткрытым окном при любой погоде.

Ну, значит, будем гулять по холоду для восстановления здоровья, — сказал он.

И они до самого обеда гуляли по больничному саду. О музыке они не говорили — Роман решил отложить музыкальное воспитание Юли на вечер, но зато беседовали всем на свете. Выяснилось, что невежественная, как он думал, девочка хорошо разбирается в ботанике, так что лекция была не о композиторах, а о растениях.

— Смотрите, вот это молодой каштан! Он скоро выпустит листочки, а потом зацветет.

— Откуда вы знаете? Вы уже были здесь раньше и видели, как он цветет?

— Нет, меня положили сюда осенью, когда все деревья были голые.

— Так почему же вы думаете, что это каштан, а не дуб или липа?

— Ну что вы, у дуба и липы совсем по-другому растут ветки! Видите, почти каждая веточка отходит от ствола сначала вверх, а потом изгибается книзу и на самом конце снова поднимется кверху?

— Вижу — латинской буквой S.

— Точно! Такие ветки бывают только у каштана. У него очень тяжелые цветы, они наклоняют ветку вниз, но сами тянутся вверх — к солнцу. А под каштаном видите вон ту травку? Это мускарики!

Юля присела на корточки над какой-то жесткой на вид темно-зеленой торчащей травкой. Вид у нее был при этом серьезный, сосредоточенный и потешный. Роман не выдержал и тихонько засмеялся. Юля подняла на него удивленные глаза:

— ЭТО Вы надо мной смеетесь или над названием?

— Ну что вы, Юля! Название очень даже милое: «мускарики» звучит почти как «сухарики».

Юля продолжала смотреть на него серьезно и выжидательно.

— В этом колпачке и халатике вы ужасно похожи на садового гнома — вот почему я засмеялся.

— Знаете, в Германии и Австрии в садах ставят глиняные фигурки гномов-садовников: они будто бы копают землю, поливают цветы, сажают их.

Юля подумала и решила не обижаться; она снова склонилась к мускарикам, потрогала ростки и сказала:

— Похоже, что они расцветут раньше, чем зацветет каштан. А знаете, у них есть еще другое название — «мышинный гиацинт».

— Тоже неплохо.

— Мускарики и вправду похожи на гиацинты, только маленькие. А еще бывают водяные гиацинты. — Тут она сделала страшные глаза.

— Они растут в тропических болотах и заводях, и в них любят прятаться крокодилы!

Какой-нибудь индус захочет собрать букет гиацинтов для своей девушки — а оттуда на него крокодил смотрит! Ужас, правда?

— Совершенно неопиcуемый ужас! А откуда вы все это знаете, Юля?

— Из книг, конечно! Я очень люблю читать книги о растениях.

— Хотите стать ботаником?

— Нет. Если меня вдруг вылечат, то я стану обыкновенным садовником и буду работать в каком-нибудь большом красивом парке. Я могла бы стать очень хорошим садовником...

«А я мог бы стать очень хорошим музыкантом» — подумал Роман, но вслух этого говорить не стал.

Они гуляли долго, до самого обеда.

Вечером Роман сразу после ужина спустился в конференц-зал, заранее перенес к роялю стул из-за кафедры и поставил его рядом со своим. Потом сел и стал ждать Юлю. Она пришла, увидела второй стул, заулыбалась и сразу же уселась на него, оправляя полы халата. Роман спросил:

— Ну что, готова заниматься в музыкальном ликбезе? — В саду они незаметно перешли на «ты».

Готова! — кивнула Юля. Я хочу узнать про композитора Сергея Рахманинова.

— Про Рахманинова? Почему именно про него? — удивился Роман и тут же вспомнил, Рахманинов умер от рака легких. Но ответ Юли удивил его еще больше.

— Я читала, что растения очень хорошо растут под музыку Сергея Рахманинова. Вот мне и интересно — почему?

— Садовая ты голова! — засмеялся Роман и погладил Юлю по короткому ежику. Но тут же испугался и осторожно убрал руку, ведь там, под чуточку колючими светлыми волосами Юли, притаилась она, «черная звезда», злая и коварная опухоль: вдруг Юле неприятно или больно любое, даже самое осторожное, прикосновение к голове? Но она только доверчиво улыбнулась ему. И тогда он начал играть Первый фортепианный концерт Рахманинова. Играл и наблюдал искоса, как внимательно слушает его Юля. Играл он неважно, даже, честно сказать, совсем плохо играл, но то, как его слушала Юля, помешало ему огорчиться. Она не просто слушала, а явно вслушивалась в себя, стараясь понять, что в ней происходит под эти ровные звуковые ряды, переливающиеся, задумчиво мерцающие, как влажная листва в саду под лунным светом... Теперь она была похожа уже не на садового гномика, а на серьезного и печального эльфа: по крайней мере, именно такими представлял эльфов Роман, когда читал фэнтези. Глаза у Юли были большие и с такими огромными ресницами, что было сразу видно — ресницы у нее длиннее волос. Он решил, что это не просто красиво, а по-настоящему волшебнo.

Закончив играть, Роман сказал:

— Если бы мои руки были в форме, я бы сыграл тебе самую знаменитую вещь Рахманинова, его Второй фортепианный концерт. Но пока я тебе просто расскажу немного о композиторе. Родители Сергея Васильевича Рахманинова, и даже его дед, были музыкантами-профессионалами. А это, знаешь ли, не всегда легко, но зато полезно для будущего музыканта, ведь родители были его первыми учителями в музыке.

— А почему «не всегда легко»? — спросила Юля.

Надо же! Он ведь сказал вскользь то, что было главным в биографии Рахманинова ДЛЯ НЕГО, а она, тонкая душа, сразу это почувствовала. Но Роман не стал рассказывать том, как требовательны были к нему его собственные родители, как даже после самого блестящего его выступления они принципиально никогда не хвалили его, а всегда умели найти и отметить какие-то огрехи в его исполнении. Они никогда не говорили ему, что гордятся им. Он постоянно жил под напряжением, ожидая от них похвалы и не умея ее добиться. Конечно, он видел, что родители гордятся его успехами, только вот приписывали они их исключительно себе, а он вечно не оправдывал их растущих ожиданий. И он сказал Юле то, чего никогда не говорил никому другому:

— Потому что родителями маленького талантливому музыканта часто руководит не чадолюбие, а славолубие...

— И у тебя родители тоже... такие?

— Именно такие! — ответил Роман.

— Они что, совсем не любят тебя?

— Почему «не любят»? Любят, конечно. Но музыку и успех, известность и награды они любят еще больше.

— А мои любят только водку... Они даже друг друга не любили и развелись, а до меня им и дела не было. Мать еще иногда приходит ко мне, приносит передачку, спрашивает, как идет лечение. Я ей все подробно рассказываю — мама же! А в следующий раз она приходит и спрашивает то же самое, будто я ничего ей не говорила, — ну ничего уже не помнит! Всю зиму не могла принести мне теплое пальто, а я сто раз просила. Я зимой почти не гуляла...

— Поэтому на тебе такой легкий плащик!

— Ну да! Это чужой плащ, от девочки остался, которая умерла. Родители не стали забирать, ну мне и разрешили взять для прогулок.

У Романа сжалось сердце: он знал больничную примету — нельзя донашивать вещи того, кто уже умер от рака. Надо будет попросить Катю принести для Юли какую-нибудь из его курток и теплый лыжный костюм. Ну и на ноги что-нибудь подобрать, какие-нибудь мамины старые уличные туфли, что ли, она ведь и сама не помнит, сколько у нее обуви... Катя его поймет и принесет все что надо, они с ней ладят. И еще надо сказать, чтобы фруктов приносила теперь побольше — на двоих.

После химии Юле стало хуже. Она с трудом ходила, прогулки ей запретили, но все равно почти каждый вечер спускалась в конференц-зал. У нее часто, почти все время болела голова, и Роман играл теперь для нее немного и очень тихо, а большей частью они просто сидели рядышком и разговаривали. Юля то и дело прикладывала руки ко лбу и вискам, пытаясь снять боль. Однажды она пожаловалась:

— Не помогает — руки горячие! — ее все время слегка лихорадило.

Роман в этот вечер еще не играл, и руки у него были холодные. Он встал, обошел Юлю и сзади

обхватил ладонями ее лоб и виски: он очень-очень хотел, чтобы ей стало легче — и боль у нее притихла.

— Как хорошо! Почти совсем не больно стало, — осторожно прошептала Юля. — У тебя врачебные руки.

— А я думал, музыкальные! — тихо засмеялся Роман.

С этого дня Юля часто просила:

— Ромашка, полечи мою бедную голову!

И Роман послушно вставал и «лечил», обхватывал ладонями ее виски, осторожно проводил ладонями к затылку и мысленно уговаривал: «Не боли, не боли, пожалуйста!»

В Юлином отделении на третьем этаже старшей сестрой была тощая и строгая Полина Ивановна, которую дети за худобу прозвали Половиной Ивановной. Как-то она зашла в Юлину палату с таблетками, не застала, ее заглянула еще раз и рассердилась:

— Где это гуляет Качуркина? Она же после химии, ей лежать надо!

Девочки в палате сказали, что Юля ушла на первый этаж «к своему жениху со второго этажа».

— Я вот ей покажу «жениха»! И вообще, что это за привычка по этажам бегать? Надо главврачу сказать, чтобы запретил эти хождения. Есть время для прогулок, погуляли — и сидите у себя на этаже, в своей палате, или смотрите телевизор в гостиной. Для чего его вам поставили? Или играйте в тихие настольные игры, как приличные дети.

Назавтра лечащий врач под угрозой выписки строго запретил Юле выходить из палаты. Она написала Роману записку и попросила одну из девочек спуститься после ужина в конференц-зал и отдать ее Роману. Девочка Галя хотела исполнить поручение, но ее перехватила у дверей отделения вредная Половина Ивановна.

— Куда это ты, голубушка, направилась?

— В конференц-зал, на первый этаж! — смело ответила Галя. — Да я на минуточку, Полина Ивановна, мне только записку отдать. Я сейчас же вернусь назад!

Что за записку? Кому и от кого?

— Роману, который там играет на рояле. Он дружит с нашей Юлей, а ей нельзя выходить из палаты. Она плачет...

— А ну-ка, дай сюда записку! Я ее сама передам кому надо.

И девочка Галя записку отдала — не спорить же со старшей сестрой отделения. Так записка Юли к Роману оказалась сначала у главврача отделения, а потом легла на стол самого профессора Привалова.

— Я разберусь с этими молодыми людьми, — сказал профессор. И разобрался. Он распорядился перевести Юлю Качуркину на второй этаж, в отделение, где лежал Роман, а на ближайшем обходе сказал Роману:

— Ну вот, я перевел твою подругу Юлию Качуркину с третьего этажа, теперь она в одном

отделении с тобой и даже лежит в соседней одиннадцатой палате. После обхода можешь сразу идти к ней. Посиди со своей Джульеттой, постарайся отвлечь ее от боли, развлеки чем-нибудь. От концертов для нее пока воздержись: она сейчас очень слабенькая, и волноваться ей нельзя. Пусть больше лежит. А ты просто посиди с ней рядом, сколько хочешь и сколько можешь, поговори с ней почитай ей что-нибудь. Есть у тебя книги?

— Есть.

— Это хорошо, что вы подружились, это вам обоим полезно.

— А Юля может поправиться, Дмитрий Алексеевич? Есть надежда?

— Надежда всегда есть. Только ее надо поддерживать.

— Я буду стараться поддерживать, Дмитрий Алексеевич! И спасибо вам.

— Не за что, юноша, не за что. Меня очень радует, когда больные ободряют и опекают друг друга, это помогает им бороться с болезнью.

Увидев Романа, входящего к ней в палату с бутылкой сока и тарелкой фруктов, Юля так и расцвела.

— Ромашка! Как ты узнал, что меня перевели в ваше отделение?

— Мне об этом доложили.

— Кто?

— Профессор Привалов.

— Скажешь тоже! — засмеялась Юля.

— Между прочим, он рад, что мы с тобой дружим, и ничего не имеет против.

Роман положил подношение в тумбочку, взял стул и удобно устроился возле Юлиной кровати с таким видом, будто это его законное место и никто его с него не сгонит. Разговаривая с Юлей, он держал ее за руку.

А девочки поглядывали на парочку и завистливо шептались: «Вот это любовь!»

* * *

Юле стало немного лучше, и они опять стали гулять в больничном саду. Расцвели мускарики, они же мышиные гиацинты, на молодом каштане развернулись маленькие лапчатые листочки и поднялись цветочные столбики с бутонами-горошинами. Юля разыскивала в саду все новые и новые растения, показывала и называла их Роману и рассказывала про них удивительные истории. Он с нежностью и восхищением слушал ее. Вечерами они менялись ролями, и тут уже Юля слушала его игру и рассказы о музыке.

По клинике прошел слух, что буквально на днях выпишут семнадцатилетнюю Лену Гаврилову, у которой была благополучно удалена астробластома. Но дело было не столько в операции, сколько в лекарстве, применявшемся до нее; это был какой-то заграничный препарат, который достали за большие деньги родители Лены; лекарство сократило опухоль, и ее, съезжившуюся и затихшую, благополучно удалили. «Узнать, узнать, что за лекарство!» — загорелся Роман. Он

смело поднялся в палату Лены Гавриловой на третьем этаже и с порога заявил:

— У меня к вам важное дело. Речь идет о жизни и смерти. Вы знаете Юлю Качуркину, которая лежала в двадцать четвертой палате?

— Знаю. А вы друг Юли, музыкант Роман. Про вас двоих все знают.

— А раз вы знаете, то, пожалуйста, помогите нам! Скажите мне, как называется лекарство, которым вас лечили, и где его достали ваши родители, в какой стране?

— Ой, да запросто помогу! — сказала девушка радостно. — У меня осталась наполовину использованная упаковка. Я хотела отдать профессору, но для Юльки вашей — да пожалуйста! Только вы с ней не вздумайте так принимать, покажите сначала врачу — там противопоказаний уйма.

— Ну мы же с Юлей не идиоты! — успокоил ее Роман. — Спасибо вам огромное! Сколько я вам должен за лекарство? У меня дома есть деньги, я попрошу принести...

— Да какие деньги! — перебила его Лена. — Ну их к черту! Я здорова, понимаете? Совсем-совсем здорова! Меня, конечно, еще будут несколько лет держать под контролем, но сама изнутри чувствую — здорова, как лошадь! И это не лекарством я с вами делюсь, а радостью! Тем более, что вы не для себя его берете.

— Я очень рад за вас, Лена. Это такое счастье для всех, когда кто-то выздоравливает. Уже второй день вся клиника гудит!

— Вот и пусть гудит, как колокол надежды: это же так важно — иметь надежду, правда?

— Да, Лена, это очень важно. Мне и профессор Привалов об этом говорил.

— А у вас есть такая надежда — вылечиться?

— Честно?

— Да, если можно.

— Нет, Лена, у меня ее нет: у меня уже метастазы в легких пошли. Но я очень хочу, чтобы выздоровела и жила Юля.

— Скажите, а вот если бы только один из вас мог выздороветь, вы бы выбрали себя или ее?

— Конечно, ее!

— А почему, Ромочка?

— Ну, наверное, потому, что мне ее жаль гораздо больше, чем себя. Я все-таки видел в жизни много хорошего — крепкую семью, успехи в музыке, победы на конкурсах, награды, ну и дальние страны... А Юля — ничего, кроме бесконечных обид, нищеты и горя.

Лена посмотрела на него долгим взглядом, а потом сказала:

— Зато сейчас она счастливая. Наверно, в этой больнице сегодня только Юля счастливей меня.

* * *

Роман терпеть не мог врать, особенно родителям, но и всю правду он сказать тоже не мог, а потому просто протянул матери коробочку с иностранным лекарством и сказал:

— Мама! На днях из нашей клиники выписалась девушка, которая излечилась с помощью этого вот лекарства. Попробуйте достать его для меня. Возьмите деньги из моих, которые в банке, потому что достать его можно только за границей и там оно тоже дорого стоит.

— О чем ты говоришь, сынок? Неужели мы пожалеем своих денег на лекарство для тебя? — И она убрала упаковку в сумочку.

А через день за Романом пришла сердитая, с красными пятнами на лице главврач отделения и повела его на допрос в кабинет профессора Привалова. Еще с порога Роман углядел на столе профессора знакомую упаковку с крупной надписью «Natulan».

— Проходи, больной Роман Осин. Оставьте нас, Мария Павловна, у нас тут будет крупный мужской разговор.

Роман подошел к столу и сел в кресло для посетителей.

— Так ты что, Роман, решил заняться самолечением, причем не выходя из клиники? Ты разве не знаешь, что больным категорически запрещено вносить свои коррективы в ход лечения? Если каждый станет добывать себе лекарства на стороне и принимать их без согласования с лечащим врачом, знаешь, что получится? Получится смертельно опасный ка-вар-дак! Что тебе, дорогой мой пациент, известно о побочных действиях вот этого, в общем-то, и в самом деле прекрасного лекарства?

— Ничего, — честно ответил Роман.

— Так я и думал. Ну так я тебя просвещу на этот счет. Мы не применяем натулан при лечении мальчиков, потому что это может привести к их полной стерилизации. Представь себе, ты поправляешься, но у тебя никогда не будет ни детей, ни тех мужских радостей, от которых рождаются дети.

Роман пожал плечами.

— Мне это безразлично.

Ах, вон что! Ну, теперь понятно, в чем тут дело... И все-таки ты должен был сначала поговорить с врачом. Ты представляешь себе гнев Марии Павловны, которая как-никак в первую очередь отвечает за ход твоего лечения, а потом ужас и возмущение твоей матери? Ведь она, умница, не бросилась сразу доставать тебе лекарство, а сообразила пойти посоветоваться с лечащим врачом.

«Предательница», — уныло подумал Роман о матери.

— Впрочем, это я говорю в общем и целом, чтобы напомнить о недопустимости самолечения. А конкретно... Ну что бы тебе, дорогой, не объяснить все по-хорошему, не признаться, что лекарство тебе нужно вовсе не для себя, а для Юли Качуркиной? Ведь ты доброе дело задумал, а получился скандал. Беда с этими влюбленными...

Роман вскинул глаза на профессора.

— Ну, чего ты на меня таращишься? Это Мария Павловна не сумела сложить один и один, а я-

то как-никак на двадцать лет старше ее и за свою жизнь в онкологии всякого насмотрелся... Давай теперь вместе думать, как нам дальше-то быть. На четверть курса лекарство для Юли Качуркиной теперь у нас есть, а где взять остальные три четверти?

— Может, мы теперь все объясним моим родителям, и они помогут?

— Я на такое пойти не могу, извини, друг мой. Права не имею. Да и сомневаюсь я, что они захотят помогать незнакомой девочке.

Роман тоже сомневался.

— Понимаешь, мы не можем начинать лечение натуланом, если у нас нет лекарства на весь курс. Ну вот что, дорогой, я буду думать, где его раздобыть: может, у знакомых онкологов найду хотя бы по частям. Натулан тоже не всем помогает, так что у кого-то может и остаться небольшая часть после смерти пациента. Будем искать, будем искать...

— Дмитрий Алексеевич! А вы не могли бы отпустить меня на несколько дней домой?

— Отпущу, если ты на этот раз прямо скажешь мне, что ты там задумал, и если твоя идея покажется мне разумной.

— У меня много знакомых среди известных музыкантов и артистов: я хочу выяснить, кто из них в ближайшее время едет выступать за границу, встретиться с таким человеком, все ему рассказать и попросить купить натулан. Вдруг кто-нибудь откликнется?

— Ну что ж. Давай телефон твоих родителей — я им объясню, что ты нервничаешь и тебе полезно будет побыть недельку дома. Это, кстати, объяснит историю с натуланом: я им намекну, что тебя потрясло исцеление Лены Гавриловой и ты по глупости захотел получить то же лекарство. А для Юли я напишу тебе рецепт и поставлю печать института и свою личную печать и подпись. Если купить лекарство за границей окажется непросто — это может помочь: и меня, и наш институт там знают специалисты.

— Дмитрий Алексеевич, спасибо вам огромное!

— Да пока не за что... И вот что еще, Роман. Меня с самого появления Юли Качуркиной в нашей клинике тревожит ее психический настрой. Ты замечаешь, дружок, что у нее совершенно утрачена воля к жизни? Ты не знаешь, что могло так надломить ее, почему она не сопротивляется болезни и не борется за жизнь?

— Знаю. У нее на глазах распалась их семья, она оказалась никому не нужной, а родители еще и оба алкоголики, так что им просто не до нее...

— Бедные дети, бедные наши дети... Роман, попробуй пробудить в ней желание выздороветь!

— Я стараюсь, Дмитрий Алексеевич.

* * *

Уйти из клиники домой оказалось не так-то просто. Нет, родители отнеслись спокойно к тому, что он побудет неделю «в домашнем отпуске», а младшая сестра Людочка бурно радовалась и ждала его с нетерпением, а вот Юля... Юля, услышав, что он уходит домой на целую неделю, схватила его за руку и заплакала.

— Ну что ты так расстроилась, Юлечка? Меня же не будет всего только семь дней.

— Не уходи, Ромашка... Не оставляй меня одну!

— Послушай, Юля! Я вернусь ровно через неделю, день в день.

— А вдруг я именно в эту неделю умру? Одна, без тебя...

— Незачем и некогда тебе умирать: у тебя впереди еще операция и, возможно, облучение.

— А я боюсь... Нет, умереть я не боюсь, я давно привыкла к тому, что все равно придется, я только не хочу умирать без тебя.

— Что за глупости, Юлечка? Химия прошла благополучно, ты сейчас восстанавливаешься. Чего ты вдруг испугалась, глупенькая?

— Рома, я всегда боялась, что, когда я буду умирать, со мной никого не будет рядом и некому будет поддержать меня за руку. Когда ты появился, я так радовалась, что теперь не придется мне умирать одной. А ты хочешь уйти и оставить меня одну со смертью...

Роман похолодел.

— Ты не умрешь!

— Ромашечка, милый! Это может случиться в любой день. Ты же знаешь, как это бывает с нами...

И тогда Роман решился.

— Юля! Перестань плакать и выслушай меня внимательно. Я ухожу вовсе не отдыхать от больницы и не развлекаться. Я хочу достать для тебя то лекарство, которое исцелило Лену Гаврилову.

Он рассказал Юле все. Только она, кажется, не очень обрадовалась тому, что для нее может найтись дорогое и чудодейственное лекарство. Но в конце концов она его отпустила, взяв с него слово, что во время своего «отпуска» он будет думать о ней вечерами, в то самое время, когда он обычно играл для нее на рояле. И это он ей, конечно же, пообещал.

У Романа были свои деньги и даже счет в банке: ему неплохо платили за выступления, особенно велики были гонорары, полученные на зарубежных гастролях, но сам он снять эти деньги со счета не мог, только вместе с отцом.

Отец выслушал его просьбу в недоумении.

— Мне не жалко, это твои деньги, но я не понимаю, зачем тебе вдруг понадобилась такая крупная сумма? Надеюсь, ты понимаешь, что я вправе тебя спросить об этом?

Пришлось рассказать ему о Юле, и в конце концов отец начал уступать:

— Благотворительности я решительно не одобряю: каждый должен сам зарабатывать себе и на хлеб, и на лекарства, ну а если не получается — лечиться по средствам. Но как мужчина я тебя понимаю: чем не пожертвуешь для любимой девушки! Она хоть хорошенькая, эта твоя Юля?

На это Роман только пожал плечами.

— Ладно, — уже полностью сдался отец, — в конце концов, повторяю, это твои собственные деньги и твоя личная жизнь. Хотя я бы на твоём месте приберег их на будущее: навряд ли у тебя теперь скоро появятся такие высокие доходы, как были в прошлом... Но как скажешь, как скажешь, сын.

Они пошли в банк и сняли требуемую сумму. Теперь встал главный вопрос: кто привезет лекарство из-за границы? Роман несколько дней обзванивал всех знакомых музыкантов, а также знакомых знакомых и наконец выяснил, что ближайшая поездка за границу, в Германию, предстоит пианисту Михаилу Толстому, жившему в Ленинграде. Он ему позвонил и обо всем договорился. Ближайшим ночным поездом он выехал в Ленинград чтобы обернуться за день и таким же ночным поездом вернуться в Москву. В поезде он почти не спал из-за духоты в купе и всю ночь вспоминал вчерашние разговоры с профессором и с Юлей. «Нет воли к жизни», — вспоминал он и думал, как же и чем пробудить в Юле эту самую волю к жизни?

Миша Толстой вел курс в консерватории и жил неподалеку от нее, возле Никольского собора, в небольшом старинном особнячке, где издавна обитало несколько семей потомственных музыкантов. Роман приехал утром, и пришлось ему ждать, пока у Миши кончатся занятия. Он погулял по Неве, потом побродил по Эрмитажу, купил подарки для Юли, а к обеду поехал на место. Он позвонил с уличного телефона, но Михаила еще не было, и тогда он решил зайти в Никольский собор. Причем зайти не просто так, а поставить свечку Божьей Матери и помолиться о Юле. До этого он заходил в храмы только как турист да еще послушать органную музыку в католических соборах за границей. Отец говорил, что религия — это часть культуры. Роман не верил, что это в самом деле так. Что-то и тогда невнятно шевелилось в его душе, но архитектура и музыка отвлекали, и он особо не задумывался. А вот теперь при виде золотых куполов и крестов над бело-голубыми стенами его вдруг потянуло в храм. «Пойду поставлю свечку и помолюсь», — решил он: их Катя именно так и делала.

Он прошел через весенний сквер, вошел в двери собора и удивился его пустоте. Какая-то старушка сразу же подошла к нему и заявила:

— А служба давно кончилась! Чего надо-то?

— Хочу поставить свечку Божьей Матери за больную. Можно это сделать?

— Можно, можно, отчего же нельзя? Какой иконе-то хочешь поставить?

— Божьей Матери.

— Так их у нас не одна! А кто болен-то у тебя?

— Подруга. Ей четырнадцать лет, и у нее рак.

— Что делается на свете! Ну последние времена пришли — дети раком болеют, Господи помилуй! Она сама его отвела к свечному ящику, помогла купить свечи, посоветовала поставить еще свечку и святому великомученику и целителю Пантелеймону и икону показала. Он купил десяток свечей, поставил одну святому целителю, а потом стал просто ходить по храму, отыскивая иконы Божьей Матери и перед каждой ставя свечу и моля «Богородица, помоги бедной больной девочке Юле!»

Верил ли он в Бога и Богородицу, в Иисуса Христа? Наверное, все-таки немножко верил! Хотя и сомневался. Но он и в чудодейственность заграничного натулана не очень верил НО НАДО БЫЛО ВЕРИТЬ — иначе зачем все эти хлопоты и все это напряжение сил?

Справа от иконостаса он увидел удивительную икону: Богородица держит на коленях маленького Христа, а рядом, опираясь на ее колени, стоит еще какой-то мальчик тоже с нимбом на голове. Роман вспомнил малышей в их клинике, то шаливших, как все дети, то смиренно лежавших в кроватках, плачущих и зовущих маму. «Дорогая Богородица, сделай что-нибудь для всех наших больных детей, пожалей их и Юлю! Пожалуйста!» Ему показалось на миг, что Богородица на иконе заплакала, но потом он сообразил, что это его собственные глаза наполнились слезами и оттого по лицу на иконе как будто пробежали искры. Он вытер слезы платком, поклонился иконе и вышел из храма.

Михаил уже был дома. Роман передал ему деньги и рецепт от Дмитрия Алексеевича и попросил, если все получится, прислать посылочку с лекарством прямо в институт на имя профессора Д.А. Привалова. Михаил обещал все исполнить.

Вечером Роман сел в поезд и поехал обратно в Москву. В купе опять было душно; стоило ему лечь, как его начал терзать надсадный кашель. Сосед на нижней полке разворчался: «Надо бы правило установить, чтобы таким вот больным билеты на поезд не продавали, а то ездят и заразу разносят!» Роман даже несколько раз выходил из купе, чтобы переждать приступ кашля в коридоре. Откашливался он в носовой платок, а под утро выкинул его в уборную — платок был в кровянисто-черной мокроте. Словом, он опять промучился всю ночь. В десять утра он был в Москве и через пару часов появился в клинике — на два дня раньше срока. По дороге он заехал домой, сказал отцу, что поездка была благополучной, нашел и сложил в дорожную сумку свой лыжный костюм, шерстяные носки и стеганую пуховую куртку, которую ему купили пару лет назад за легкость и непродуваемость, а в какой стране — этого он уже не помнил.

* * *

— Ромашка, ты вернулся? — обрадовалась Юля.

— Вернулся, как видишь. Ну, а ты как? Что делала без меня?

— Ждала и плакала.

— Да зачем же было плакать, Юля? Я ведь говорил тебе, что вернусь, как только добуду лекарство.

— Добыл?

— Кажется, добыл. Через две недели узнаем точно. Во всяком случае, деньги и рецепт от профессора уже в пути. Рассказывай, как ты? Тебе лучше?

— Сейчас стало лучше, когда ты появился. А у нас новенькая, на место Гали положили! Ее тоже Юлей зовут.

Он не стал спрашивать, куда делась Галя, это и без того было ясно — либо в отдельную палату, либо в морг. Он только взглянул на новенькую: совсем маленькая девчушка, лет семи, лежит и смотрит на них испуганными глазами.

— А где остальные соседки?

— На процедурах.

Роман вынул из своей сумки кружку с Медным всадником на боку и коробку шоколадных конфет под названием «Летний сад», с золотым осенним Летним садом на верхней крышке —

соответственно названию.

— Это вот тебе подарки из Ленинграда.

— Ой, спасибо! — Юля прижала подарки к груди. — Какая красивая кружка, а коробка какая! Я буду пить теперь только из этой кружки.

— И есть конфеты только из этой коробки! — засмеялся Роман. И добавил шепотом: — Давай угостим твою маленькую тещу.

— Конечно! Ты отнеси ей. Только первую конфетку я сама съем!

— Ну разумеется, я же для тебя вез. Юля выбрала конфету в золотой обертке и стала аккуратно ее разворачивать, а Роман взял коробку и пошел угощать Юлю-маленькую...

— Здравствуйте, Юля. Меня зовут Роман, я друг вашей соседки Юли и часто буду приходить к вам в палату. Не возражаете?

— Не-а, не возражаю!

— А могу я вам предложить вкусную шоколадную конфету? Я их из Ленинграда привез. Видите — это Летний сад на крышке, очень знаменитое место в Ленинграде.

— Красиво.

— Надеюсь, что будет и вкусно. Не стесняйтесь и угощайтесь! — И он шикарным жестом раскрыл коробку. Юля-маленькая и не думала стесняться: глаза у нее заблестели и забегали, выбирая.

— А можно эту? И эту? И еще вот эту?

— Можно. Это ведь Юля вас угощает, а она у нас добрая.

— Спасибо! — И девочка загребла целую горсть конфет. Настроение у нее заметно улучшилось.

Роман вернулся к Юле. Та улыбалась, уже сидя в кровати. Он протянул коробку, и она тотчас взяла еще одну конфету — первую она уже успела съесть.

— А ты сам-то попробуй!

— И я попробую. М-м, а действительно вкусно! Спасибо, девочки Юли!

— Да за что нам-то спасибо? Это же ты привез конфеты.

— А вы могли мне и не оставить!

Обе Юли засмеялись и снова принялись жевать.

— Юля, а на дворе, между прочим, чудесная погода.

— А почему тогда ты все время покашливаешь?

Это я в поезде простыл: сама понимаешь, там были сквозняки и духота — самое простудное

сочетание. Знаешь что? А при простуде, между прочим, как раз полезен свежий воздух. Что ты думаешь о том, чтобы пойти на прогулку в сад?

— Ромашка, я не смогу — мне же не спуститься по лестнице!

— На лифте спустимся.

— И хожу я еще плохо!

— А мы поедем.

— Как это — «поедем»? На чем?

— Сейчас увидишь! Я пока выйду, а ты надень-ка вот это все — И он выложил на Юли-ну постель куртку, лыжный костюм и носки, а сам вышел за дверь. За дверью стояла большая и удобная инвалидная коляска. Роман подождал минут десять, потом постучал, приоткрыл дверь и спросил:

— Уже можно подавать карету, ваша светлость?

— Мо-о-жно! — с ожиданием в голосе протянула Юля, и он распахнул дверь и торжественно вкатил коляску.

— Прошу!

Юля ахнула, а Юля-маленькая засмеялась и захлопала в ладоши.

И они поехали в сад. За те дни, что они пропустили, в саду, как это бывает только в начале лета, произошли большие изменения. Листва деревьев и кустов уже полностью обрела форму по роду своему, хотя и не величину, и молоденькие листочки на солнце казались стеклянными. На клумбе перед входом вовсю полыхали желтые и красные тюльпаны, на газонах расцвели примулы и маргаритки, готовился к цветению их любимый каштан. Под кустами шмыгали дрозды, по всему саду тенькали синицы, за высокой стеной позвякивал проходивший по улице трамвай, но им казалось, что в саду царит теплая солнечная тишина.

У кирпичной стены стояла их любимая замшелая скамья: скамейки вокруг клумбы с тюльпанами у входа в институт уже давно покрасили в зеленый цвет, а про эту, видно, забыли. Рядом росла невысокая черемуха деревцем, ствол у нее был кривоватый, с наростами, а крона была прозрачной, кружевной и казалась совсем молоденькой, и цветов на ней было немного. А может, их уже успели оборвать...

— Расскажи мне про поездку в Ленинград. Со всеми подробностями! — попросила Юля.

— С какими подробностями?

— Ну вот, например, что ты видел в окошке пока ехал?

Да ничего не видел, Юлечка, я же ехал ночным поездом туда и обратно! А вот днем я зашел в церковь и там видел удивительную икону Божьей Матери: на руках у Нее маленький Иисус, а рядом стоит еще какой-то мальчик постарше. Я хотел спросить у церковных бабушек, кто это, но их не было поблизости, и я просто поставил свечку и помолился за тебя и за всех детей.

— А ты веришь в Бога, Рома?

— Верю.

— Я, кажется, тоже... Я даже иногда верю, что после смерти будет еще что-то, какая-то другая жизнь — но уже без горя и боли.

— Я тоже в это верю. Но и эту жизнь нам надо прожить до самого конца, нельзя сдаваться раньше времени, правда?

— А зачем это — обязательно проживать всю жизнь до конца?

— Чтобы выполнить все, что нам было назначено сделать в этой жизни.

— А мне вот кажется, что для меня ничего и назначено не было. Я родилась уже ненужной. Мать, когда сердилась на меня, прямо так и говорила: «Зря я тогда аборт не сделала!»

«Какой ужас!» — похолодев, подумал Роман, но вслух ничего не сказал, спросил только:

— А хочешь, я тебе достану веточку черемухи и мы ее поставим у твоей кровати?

— Хочу.

Роман встал и принялся оглядывать черемушное деревце:

— Эту? Или вон ту? Какая тебе нравится? О, вон там я вижу двойную пушистую веточку!

— Ромашка, ты ее не достанешь, она высоко!

— Я не достану? Ну вот еще! Непременно достану! Только уступи мне твою карету ненадолго.

Роман пересадил Юлю на скамейку, а потом подкатил коляску к самой черемухе, поставил ее на тормоз, встал ногами на сиденье, пригнул верхушку черемухи и сломил ту самую веточку.

Юля радостно хлопала в ладоши. Он слез с коляски и торжественно вручил ей свой дар. Юля понюхала черемуху и чихнула.

— Знаешь, а мне еще никто никогда не дарил цветов!

— Вот мы оба с тобой поправимся, выберемся из больницы, и тогда я буду дарить тебе цветы хоть каждый день.

— А где ты будешь их брать?

— Ну не в садах же воровать! Это уж я тут, по бедности нашей... Покупать я буду тебе цветы, Юлечка.

— А деньги?

А деньги я заработаю. — Роман пошевелил пальцами и только сейчас заметил, что руки у него уже не отечные. — Давно я не упражнялся по-настоящему, надо больше играть. Святослав Рихтер говорил: «Если я не играю один день — это замечаю только я сам, если два дня — это замечает моя жена, а если три дня — это слышат все слушатели в зале».

— А сегодня вечером ты поиграешь для меня?

— А как же! И мы вместе споем твою любимую песенку.

И так оно и было: они вернулись с прогулки, пообедали и отдохнули, а вечером Роман отвез Юлю в конференц-зал и играл для нее, и они пели вместе колыбельную Умки.

И оба не знали, что это была их последняя прогулка и последний концерт.

* * *

А на другое утро у Юли началось сильное, до тошноты, головокружение. Пришла врач, посмотрела, помрачнела, назначила какие-то уколы, а назавтра на обходе был профессор, почитал результаты последних анализов, тоже тщательно осмотрел Юлю и распорядился перевести ее в отдельную палату.

Роман подстерег профессора Привалова возле его кабинета и спросил:

— Дмитрий Алексеевич! Юле Качуркиной очень плохо. А нельзя прямо сейчас использовать лекарство — то, которое у нас уже есть? А там мой знакомый придет еще. Может быть, натулан поможет?

— Нет, Роман, сейчас не поможет. Слишком ослаблен организм.

— А операция поможет?

— В таком состоянии опухоль трогать нельзя, она сейчас очень агрессивна.

— Что же делать?

— Надеяться на чудо и поддерживать организм: если это обострение пройдет и наступит спокойный период — тогда сразу начнем натулан.

— А мне можно сидеть с Юлей?

— Конечно, можно и даже нужно. Я распоряжусь, чтобы тебя не гоняли.

— Спасибо...

— Это тебе спасибо, Роман. Самое большое, что можно сделать для человека в таком состоянии, — это окружить его любовью, обернуть его ею, как младенца теплой пеленкой, и постараться, чтобы у него на душе было спокойно. А мы постараемся избавить твою Юлю от боли.

— Вы все-таки думаете, что это конец?..

— Не знаю, друг мой, не знаю. Давай будем надеяться на лучшее, но готовиться и к худшему.

Роман почти не отходил от Юли. Очень медленно, будто капли меда с ложки, тянулись минуты, но зато дни мчались быстро, один за другим, и он даже не успевал их считать. Юля теперь по большей части спала под действием обезболивающих, но и во сне она чувствовала присутствие или отсутствие Романа. Когда он уходил в свою палату — к врачебному обходу, на процедуры или по каким-то своим делам, — возвращаясь, он всякий раз замечал, что лицо Юли за то время, пока его не было, стало напряженным, между глаз пролегла тонкая морщинка, а губы скорбно сжаты. Поэтому он не любил долго отсутствовать и старался, освободившись, сразу идти к ней. Он садился, брал ее за руку, и черты ее лица тут же расправлялись. Если же она не

спала, то радостно встречала его, улыбаясь больше глазами, чем губами. Он сидел рядом молча, если Юля спала, а когда она бодрствовала — разговаривал с нею, пел ей вполголоса или читал что-нибудь вслух. Он попросил Катю принести из дома двухтомное «Путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф. Юле книга очень нравилась. Правда, он замечал, что иногда она слушает не текст, а только его голос, а иногда просто засыпает под него, но раз ей было хорошо, он делал вид, что ничего не замечает. Сам он читал в это время «Жизнь взаимы» Ремарка, но ничего полезного для Юли в романе не находил, а потому о нем даже и не заговаривал. Однажды только прочитал ей небольшую цитату: «Человек, которому предстоит долгая жизнь, не обращает на время никакого внимания; он думает, что впереди у него целая вечность. А когда он потом подводит итоги и подсчитывает, сколько он действительно жил, то оказывается, что всего-то у него было несколько дней или в лучшем случае несколько недель. Если ты это усвоил, то две-три недели или два-три месяца могут означать для тебя столько же, сколько для другого значит целая жизнь».

— Это похоже на мою жизнь, — сказала Юля. — Мы всего два месяца с тобой знакомы, но это самые счастливые месяцы из всей моей жизни. Меня до этого никто никогда не любил.

— А я вообще никогда никому не был нужен сам по себе, кроме тебя, — сказал Роман. — Все только ждали чего-то от меня, но никто никогда не ждал меня самого. Вот как ты ждешь, когда я еще только подхожу к двери твоей палаты: я открываю дверь — а ты уже сияешь мне навстречу!

— Так я же издали слышу и узнаю твои шаги, Ромашка! — тихонько засмеялась Юля. — Ты всегда так крепко топаешь, даже когда ты в тапочках...

Позже Роман очень жалел, что не было тогда у них книг, которые могли бы помочь Юле да и ему самому. Он тогда и не знал, что есть на свете книги, а среди них одна самая главная, которые нужны человеку, стоящему у таинственной двери, ведущей в неизвестное посмертное будущее. Или в никуда, в ничто, в черную яму, как думали многие тяжело больные, парализованные лютым страхом смерти. Но ни Роман, ни Юля в это самое пустое и черное «никуда» все-таки не верили, как не верили и в вечную разлуку — ее просто не могло быть, так они чувствовали.

— Я буду там ждать тебя, — говорила Юля. — Но ты не торопись за мной, ты все-таки постарайся выздороветь и пожить подольше, ладно? Ты станешь великим музыкантом, будешь ездить по всему миру, люди будут слушать тебя...

— Нет, Юлечка, великим музыкантом я уже не стану...

— Из-за рук? Как я хочу, чтобы ты выздоровел, Ромашка! Чтобы ты снова играл и был счастлив...

— Юля!

— Нет, Ромашка! Ты обещаешь мне, что и без меня постараешься быть счастливым, ладно? Ты просто помни обо мне, помолись иногда обо мне, а больше мне ничего не надо. Ты обязательно женись, и пусть у тебя будет много детей.

— Не надо так говорить, Юля... Я все-таки надеюсь, что мы оба поправимся, станем взрослыми и поженимся. Вот тогда и подумаем о детях.

Юля грустно улыбалась, слушая его.

Пришла бандероль из Ленинграда на имя профессора Привалова, с натуланом. Роман принял это известие равнодушно, но позвонил Михаилу и поблагодарил. Юле он и вовсе ничего не сказал.

Иногда Юля просила его выйти в сад, а потом рассказать ей, что там нового. С таких одиноких и грустных прогулок (он каждый раз забирался в их тихий уголок, садился на их скамью и там плакал потихоньку от всех и от Юли) Роман обязательно приносил тайком какой-нибудь цветок или веточку. Лето вступило в полную силу, и цветов в больничном саду было теперь великое множество. Особенно много было роз разных сортов, мелких и крупных. Юля смотрела на цветы и тихо радовалась. Вот только запахов она уже не чувствовала...

Умерла Юлия Качуркина утром 29 июля, Роман держал ее за руку до самого конца и тихонько пел:

Мы плывем на льдине,
Как на бригантине,
По седым суровым морям...

Юля слушала и дышала ровно, только все реже, реже... И вот затихла совсем. Потом пришли санитары и увезли Юлю на каталке.

В этот день к Роману пришла Катя и, увидев, что он лежит у себя в палате одетый и смотрит в потолок, спросила шепотом:

— Отмучилась Юленька?

— Она не мучилась! — ответил он резко.

— Ну и слава Богу, — сказала Катя и перекрестилась. — А ведь в самый День ангела померла твоя девонька! Это верный знак, что пошла она в Царствие Небесное. Ну да отсюда все туда идут, страдальцы бедные.

Роман как-то пропустил Катины слова мимо ушей, а вспомнил о них много позже, когда научился по-настоящему молиться. Сейчас же он пребывал в шоке, не мог даже плакать: просто лежал и ни о чем не думал, и вокруг него была ледяная пустота.

Но долго лежать ему не дали: пришла сестра и сообщила, что профессор ждет его в своем кабинете.

— Прими мои соболезнования, Роман, — сказал Дмитрий Алексеевич. — И мою благодарность.

— За что? Лекарство ведь так и не пригодилось...

— Благодарность за то, что девочка умерла спокойной и счастливой. Это не всякому обреченному больному выпадает.

— Наверное, так оно и есть, — сказал Роман.

— И, кстати, о лекарстве. Ты прости меня, что я сразу хочу с тобой говорить о деле. Понимаешь, натулан достать у нас очень трудно, почти невозможно, поэтому многие люди готовы заплатить за него любые деньги. Я могу поговорить с родителями тех детей, которым натулан может помочь, чтобы они заплатили тебе. Ты мне это разрешаешь?

— Дмитрий Алексеевич, а Юле-маленькой, которая лежала в одной палате с моей Юлей, натулан может помочь?

— Да, этой Юле он может помочь. Но навряд ли у ее матери найдутся такие деньги: она простая работница с обувной фабрики.

— Это неважно, мне деньги не нужны.

Давайте подарим лекарство Юле-маленькой. Тем более что у нее сегодня День ангела.

— В самом деле? Ну что ж, это будет замечательный подарок.

— И скажите ей, что это подарок от Юли-большой.

— Скажу, Роман, обязательно скажу. Спасибо тебе.

* * *

Лето вдруг испортилось, начались дожди. Роман несколько дней сторожил у морга, ждал, когда мать приедет за Юлей, хотел поехать на похороны, но так и не дождался. Зато промок, простыл и слег с температурой и кашлем. Опять он давился кровавой, почти черной мокротой. «Кажется, Юля, я тебя догоняю!» — думал он. Потом кашель стал утихать, а через неделю ему стало легче, но лечащий врач послала его на рентген, на всякий случай. Сделали рентген — и не обнаружили метастазов в легких. Решили, что произошла какая-то ошибка, перепутали снимки, и сделали еще один снимок — метастазов нет. Провели полное обследование — ни опухоли, ни метастазов.

— Поздравляю, Роман! — сказал очень довольный Дмитрий Алексеевич. — Конечно, мы будем держать тебя под контролем, но можешь поверить моему опыту — ты победил болезнь.

«Любовь наша ее победила...» — подумал Роман, но вслух сказать такое постеснялся.

— Итак, ты на днях покинешь институт и вернешься к музыке, — сказал профессор. — Желаю тебе больших успехов в будущем!

— Дмитрий Алексеевич, а я уже давно передумал: я не хочу становиться музыкантом.

— Кем же ты хочешь стать?

— Я стану врачом-онкологом. Буду лечить детей.

— Ну что ж, учись и становись. А когда закончишь медицинский институт, приходи ко мне — я с радостью возьму тебя в ученики.

Прошли годы. Роман Семенович Осин теперь известный хирург-онколог и работает в клинике профессора Привалова. Он женат, у него четверо детей, старшую дочь зовут Юлей. Профессора Осина по утрам можно видеть в часовне святого целителя Пантелеймона, недавно построенной в больничном саду: он всегда молится перед тем, как идти в операционную. Больные дети его обожают.

160 сортов аспарагуса

Рассказ вдовы

Когда стало ясно, что мой муж уходит, я больше всего стала думать уже о его душе. То есть, конечно, я продолжала делать все возможное и невозможное, чтобы помочь ему вылечиться, надеялась на чудо, но меня очень тревожило, что будет с его душой в Вечности. Готов ли он, не слишком ли обременен грехами, не ожидает ли его что-то страшное — ТАМ?

У нас был чудный духовный отец, меня он понимал и поддерживал, а мужа каждое воскресенье приезжал причащать за час до службы. Володя причащался, а потом мы с отцом Николаем ехали в храм. Муж мой очень сурово постился и вообще за последние месяцы. Сделал такой духовный скачок, что все дивились. Люди приходили к нему не только чтобы навестить, но чтобы поговорить о своих собственных духовных проблемах. Возле него как-то встретились нечаянно два застарелых многолетних врага — и тут же помирились. И кончину Господь дал ему православную: причастился Володя и умер через 20 минут после причастия. Отец Николай только успел от больницы до дома доехать, как я уже позвонила и сообщила о смерти его духовного сына, и пришлось нашему батюшке возвращаться в больницу первую панихиду служить.

Хотите верьте, хотите нет, но первое время мой Володя мне постоянно знаки подавал. Сижу, например, и горюю, что никогда больше не услышу его голос. Потом приходит ко мне мысль заняться разборкой «стенки», чтобы отвлечься. Разбираю, вытираю пыль и вдруг вижу коробку с Володиными магнитофонными кассетами. Он был большой любитель и знаток джаза, а я — нет. Кому-нибудь надо отдать, думаю. Но тут мне вдруг пришло в голову послушать кого-то из его любимых музыкантов, и я взяла коробку и села на диван. Сижу, роюсь в кассетах, выбираю и вдруг вижу странную надпись на одной из них: «Воспоминания об Андрее Тарковском». А муж мой был кинооператор и одно время работал в группе Тарковского.

Я схватила кассету, вставила в магнитофоне включила — и услышала голос Володи! Размножила кассету с его голосом и раздал копии его родным и друзьям.

Примерно то же было с фотографией, то принялась я горевать, что мы не догадались сделать его последние фотографии — не хотели его огорчать. А у него такое дивное лицо стало перед смертью, никогда он таким красивым не был! Но вот не догадались... Сокрушаюсь я, сокрушаюсь, а потом думаю: «Хватит горевать! Надо за дело браться!» А было много — надо было все бумаги разобрать, привести в порядок. Машину свою нашему монастырю завещал, и я взяла папку с машинными бумагами — и вдруг нахожу фотографию, пришпиленную к листочку, на котором написано: «Сделать на права». А это у него было недолгое улучшение где-то за два месяца до смерти, и он тогда заметил, что у него права кончаются: понимала, что это — пустое, но он пошел, сфотографировался. На фотографии было его новое, духовно преображенное лицо. Увеличила, сделала большой портрет.

Но это все присказки, а рассказать-то я хотела вот что. Через несколько месяцев мы с моим братом и старинной моей подругой поехали в большое паломничество по монастырям. Это было в 1996-м году. Побывали мы в Сергиевом Посаде, в Ниловой и Оптиной пустынях, в Шамординской обители, в Борисоглебском и Пафнутьево-Боровском монастырях, а закончили Псково-Печорской Лаврой и поездкой к отцу [Николаю Гурьянову](#) на остров Залита. Дивное было паломничество! И везде, во всех монастырях, во всех храмах, я подавала за мужа годовые поминания, делала от его имени пожертвования (все монастыри тогда еще стояли в лесах) и много денег раздавала бедным старушкам с просьбой молиться «за раба Божия Владимира». Не помню уж точно, сколько денег я тогда раздавала, но много.

И вот я вернулась из паломничества домой. Сходила на кладбище, конечно, поплакала. Ночевать потом пошла к сыну с невесткой, они недалеко от кладбища жили, а назавтра мы должны были с моими внуками идти на службу в храм. Меня уложили у них в комнате на

раскладушке: и вот под утро сквозь сон слышу, как кто-то осторожно садится у меня в ногах на раскладушку. Кто-то из девочек проснулся и боится меня сразу разбудить, думаю я, и открываю глаза... И в ногах вижу сидящего моего Володю! Не очень ясно вижу фигуру в какой-то ослепительно бело: одежде, но лицо вижу очень хорошо. И лиц это сияет и полно невыразимой любви. «Володька!» — шепчу я радостно, а он кладет мне руку на руку и говорит: «Тихо! Закрой глаза, — и я послушно глаза закрываю. — Я пришел поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала». Я спрашиваю: «А ты где, Володя?» — «Я там, куда ты и хотела меня отправить». «В Раю?» — «Да». «А как там, Володенька? Расскажи!» — «Хорошо, очень хорошо. Но рассказывать нельзя. Закрой глаза и спи». — «Ну, пожалуйста! Хоть чуть-чуть!» Он тихонько засмеялся и говорит: «Там одних аспарагусов сто шестьдесят сортов! А теперь — спи!» Пожал мне руку и исчез, а я мгновенно уснула. Просыпаюсь через какое-то время и чувствую, что моя рука лежит на том же месте и она теплая-теплая, как будто муж только что снял с нее свою руку...

Тут требуется некоторое пояснение. Дело в том, что я очень люблю растения, цвет и много о них знаю, а Володя мой в этом отношении был чудовищный профан. Для него все растения делились на две группы: те, которые ему нравились, все назывались одним словом — «петунья», а те, что не нравились, — «спырынья». Увидит новый цветок и говорит: «Опять какую-то спырынью в дом притащила!» Или наоборот: «О, какая славная петунья!» А тут вдруг — «аспарагусы». Очень это меня удивило.

Обрадованная, я растормошила девочек, велела им одеваться и ехать в храм без меня, а сама вскочила на велосипед и помчалась в цветочный магазин, купила самый роскошный букет, какой там нашелся, и отвезла на Володину могилку. Кладбище, на котором он лежит, кстати, возле самого нашего храма Святых Новомучеников и Исповедников российских, а его могилка — прямо напротив входа в храм.

После службы я иду к отцу Николаю, рассказываю ему свое видение и спрашиваю, как к этому относиться «А что вы чувствовали?» — спрашивает отец Николай. «Огромную и тихую любовь его ко мне, свет и покой». Он подумал и говорит: «Любовь и покой? Вот и принимайте спокойно». Но у меня еще одно сомнение было: «А как же аспарагусы, отец Николай? Он же в этом ни бум-бум при жизни был!» Отец Николай засмеялся и говорит: «А там все быстро учатся!»

С тех пор больше мне никаких знаков не было. Да ведь и не надо!

Место обитания — склеп

Рассказ судьи

Шел бракоразводный процесс. Все время пока говорил истец, подавший на развод супруг, я слушал его внимательно, но смотрел на ответчицу: кого-то она мне напоминает эта мрачная женщина в черном платье и черной кружевной шали на коротко, как у боксера, остриженной голове. Она сидела между двумя женщинами, видимо родственниц или подругами. Одна была пожилая, другая на вид гораздо моложе ответчицы, и обе демонстрировали полное и безоговорочное осуждение истца: поджимали губы, скорбно покачивали головой и переглядывались с понимающим и негодующим видом.

Истец производил впечатление интеллигентного, робкого и крайне загнанного человека. Может быть, еще и потому, что он плохо видел, и глаза его за толстыми стеклами очков казались огромными и беспомощными. Ответчица, казалось, никак не реагировала на слова теперь уже почти бывшего мужа, отвечавшего на обычные вопросы бракоразводного процесса:

когда и где был заключен брак, имеются ли дети и спорное имущество... Результат судебного разбирательства, казалось, был предрешен уже тогда, когда на вопрос о прекращении супружеских отношений истец заявил, что они были прекращены два года назад по инициативе ответчицы. Бывшая супруга на это никак не отреагировала: сидела неподвижно, опустив глаза и сжимая в руках маленькую черную сумочку. На вопрос адвоката истца, подтверждает ли она, что между нею и истцом уже два года нет супружеских отношений, она поначалу просто кивнула и только после замечания судьи ответила равнодушно, чуть хрипловатым голосом:

— Да, подтверждаю...

На вопрос, по какой причине это произошло, истец ответил:

— Два года назад в ДТП погибла наша семнадцатилетняя дочь Маша. В тот день Машенька торопилась на последний приемный экзамен в университет. Она боялась опоздать и взяла у матери денег на такси, а меня попросила вызвать машину по телефону. Ушла Маша. А через пятнадцать минут мы услышали в раскрытое окно завывания милицейской машины и скорой помощи. Тут же к нам звонила соседка, вошла и сказала, что недалеко от нашего дома, буквально несколько кварталов, в такси врезался потерявший управление грузовик. Мы обе подумали о Маше и помчались на место происшествия; и подоспели мы как раз моменту, когда девочку нашу, лежав носилках и накрытую с головой чем-то вроде черной клеенки, уже грузили в специальную машину. Мы узнали ее по белой туфельке, торчавшей из-под страшной клеенки; сотрудник ГАИ держал в руках Машину окровавленную сумочку и листал ее документы... — Тут голос его задрожал. Он глаза, сглотнул, взял себя в руки и продолжил уже спокойно: — Вот с этой трагедии между нами и прекратились нормальные супружеские отношения.

— Ответчица, вы подтверждаете истца? — спросил я.

Она опять хотела ограничиться кивком, затем вспомнила мое замечание и ответила страстно и напористо:

Подтверждаю! Это мы виноваты в смерти нашей единственной дочери! ' Я дала ей деньги на такси, а он — он САМ телефону эту проклятую машину. Мы САМИ ее убили!

Все, в общем-то, сразу стало ясно: неизжитое горе... Я подумал, что, возможно, семью еще может спасти хороший психотерапевт, а не судья. Я тут же решил, что суд надо будет отложить и посоветовать истцу попробовать полечить свою супругу. Но пока что процесс следовало продолжать, и я задал следующий вопрос:

— Я понимаю, что первое время вы оба находились в шоке и потому не могло быть речи о супружеских отношениях. Но потом вы, истец, пытались их возобновить?

— Да, пытался и не раз. Я думал, что это может помочь нам обоим пережить наше горе.

— Супруга не пошла вам навстречу?

— Нет. Она возмущенно отвергала все мои попытки.

Ответчица и сейчас подняла на мужа глаза и глядела на него именно с возмущением и укором. Почему-то с осуждением на истца уставились и обе ее подруги или родственницы: похоже, они полностью ее поддерживали в этом вопросе, хотя, казалось бы, им-то что за дело?

— Простите, но вы спали вместе, в одной постели? — спросил я.

— Да, спали. Целый год после смерти дочери и еще немного... Два месяца, если говорить точно. Все это время жена ни о чем, кроме гибели Маши, не могла и не хотела говорить. Мы никуда не выходили из дома, не бывали ни в кино, ни в театре, сами не ходили в гости и никого не приглашали к себе. Жена даже телевизор не разрешала включать. Комнату дочери она превратила в музей ее памяти: оставила там все так, как было при жизни Машеньки, только пыль иногда вытирала. Она увеличила все Машины фотографии и развесила по стенам ее портреты. Каждое утро начиналось с того, что она молча подымалась с постели и шла в комнату дочери. И днем часто туда уходила плакать, а иногда и ночью... Я все надеялся, что это пройдет, что в конце концов жена придет в себя и все наладится. Я ждал, что ей станет легче после годовщины. Не стало...

При этих словах ответчица горько усмехнулась. Соседка слева погладила ее по руке, а соседка справа громко фыркнула. — Ничего не изменилось и через год? Через год и два месяца изменилось. Я перешел спать в гостиную, на диван...

Ну что ж, его можно было понять. Но я задал еще один вопрос, и как сразу же выяснилось, роковой:

— А что послужило поводом к тому, что вы стали спать отдельно от супруги? У вас был перед этим какой-то серьезный разговор на тему супружеских отношений?

— Нет, разговора такого не было. Другое было...

— Что именно?

Истец глубоко, громко вздохнул и нерешительно поглядел на ответчицу.

— Я решил, что об этом надо сказать. Но это так трудно!

— Это имеет отношение к сегодняшнему процессу?

— Да, имеет.

Ответчица явно знала, в чем дело: теперь она с нескрываемой ненавистью глядела на бывшего мужа, сжимая кулаки, а соседки держали ее за предплечья, будто опасались, что она может броситься на него.

— Расскажите суду, что именно случилось через год и два месяца после смерти вашей дочери?

Он вздохнул еще раз и начал:

— Вы видите, я ношу очки. Без них я слеп, как крот. Однажды утром, проснувшись, я не обнаружил их на тумбочке возле кровати. Я лежал один, жена уже встала и ушла, как обычно, в комнату Маши. Я пошарил себя под подушкой и ничего не нашел. Тогда я почему-то полез под подушку жены — машинально, спросонья, — и там моя рука наткнулась на что-то твердое. Я приподнял ее подушку — и под ней увидел окровавленную сумочку Маши в пластиковом пакете. Оказывается, она год и два месяца лежала рядом с моей головой, а я спал и ничего не знал.

— Это потому, что ты такой бесчувственный! — закричала ответчица. — Ты никогда не любил нашу дочь! Ты посмел выбросить самую дорогую память о ней, ее последние кровиночки! А

мне ты лгал, что не видел ее! Изверг, дважды дочереубийца!

Слава Богу, соседки крепко держали ответчицу, иначе скандал был бы еще больше. Я призвал всех к порядку. Но на этот раз меня не послушал истец.

— Ниночка, я, конечно же, не выбрасывал Машину сумочку! Я унес ее на работу и спрятал там. Я надеялся, что, когда ты придешь в себя, мы пойдем на могилку Маши и вместе зароем сумочку. Или сожжем ее в лесу...

Ответчица задыхнулась от ярости.

— Сжечь последнюю память о дочери?! Ты ей не отец, ты ее предал! Отдай мне Машину сумочку, сейчас же отдай! — Хорошо, Нина, я тебе ее отдам... Что уж теперь! — И тут истец открыл свой портфель и достал из него небольшой пакет в коричневой бумаге, оклеенный скотчем. Ответчица встала и протянула к нему руки.

— Подождите, истец! — Я возвысил голос. — Будьте добры, положите вещественное доказательство на стол секретаря. — Никаким вещественным доказательством для бракоразводного процесса сумочка, конечно, не была, но я понимал, что ее нужно убрать как можно дальше от бедной ответчицы.

Истец послушно отнес сумочку к секретарю и положил на край стола.

— Верните мне Машину сумочку! — закричала бедная женщина и рванулась к столу. — Отдайте, отдайте мне мое сокровище, мою память о дочери, изверги!

Сообразительный наш секретарь мгновенно оценил ситуацию: он взял пакет и быстро вышел с ним в соседнюю комнату.

Ответчица завывала в голос. Это было страшно.

— Ответчица, — негромко сказали, — если вы не прекратите кричать, я вынужден буду прервать заседание суда и вызвать для вас медицинскую помощь, чтобы вам помогли прийти в себя. — Я рассчитывал, что ни она сама, ни успокаивающие ее подруги не обратят внимания на мои слова и это даст повод действительно вызвать бригаду скорой помощи, а в остальном я полагался на истца: он объяснит врачам ситуацию и бедной женщине будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Но дело оказалось гораздо хуже, чем я предполагал. Услышав про врачей, ответчица резко оборвала свой жуткий вой, села на место и уставилась на меня напряженным взглядом — она мгновенно взяла себя в руки! К сожалению, это говорило о серьезности ее положения гораздо больше, чем если бы она продолжала кричать, начала кататься по полу или даже бросилась на истца. Мне жаль было и ее, и ее кроткого терпеливого мужа. А вот соседок ее, кто бы они ни были, на чьих лицах было теперь написано просто-таки наслаждение происходящим, — вот этих я бы... Ну хотя бы удалил из зала заседаний. Но, к сожалению, даже такой возможности у меня не имелось, формального повода не было...

И все-таки я сумел отложить слушание дела на месяц и, когда все разошлись, задержал истца и посоветовал ему при первой же возможности передать лечение жены в руки врачей.

Потерпите еще немного, — сказал я ему, и попробуйте ее уговорить обратиться к врачам. Или найдите знакомого врача-психотерапевта. В общем, врача — любой ценой. — Последние слова я добавил скороговоркой и совсем тихо, чтобы меня не услышал секретарь.

— Конечно, конечно! — сказал он, рассеянно протирая свои толстые очки. — Надо потерпеть.

Только вот сумочку она мне теперь уже не простит. Я ведь тогда на все ее расспросы отвечал, что ничего не знаю. «Может, ты сама в беспамятстве ее куда-нибудь спрятала?» А теперь, когда она знает, что сумочка все время была у меня, — нет, она мне этого не простит!

— Еще вопрос: ваша жена и вы — верующие люди?

— Я — да. Иначе как бы я все это выдержал два года, без Божьей-то помощи, как вы думаете? А вот жена была верующей, но после смерти Машеньки, страшно сказать, но она возненавидела Бога. Ну знаете, как это бывает в таких случаях: «Почему Бог взял именно нашего ребенка? Почему столько негодяев живет и здравствует, а наша чистая, добрая девочка погибла? Как Бог посмел допустить такую несправедливость?» У нее появилась ненависть ко всем живым и обида на Бога. Полгода она ходила по судам и прокурорам, требуя, чтобы водителю грузовика дали более суровое наказание. А парня осудили, слава Богу, условно. Его вина была лишь в том, что он не проверил колеса, выезжая из гаража, а в одной шине была «грыжа». Парень после того ДТП сильно переживал, у нас просил прощенья, письма писал... А Нина, несмотря на это, готова была его прямо убить. Мы ведь очень любили Машеньку, так любили, что даже не хотели иметь других детей. Она была нашей гордостью, смыслом и центром нашей семьи... Я говорил жене, что мы ради Машеньки должны простить бедного водителя, ведь он так раскаивается, а ее это приводило в ярость. Но я сам сходил к нему и сказал, что я его прощаю. А он тоже верующий оказался и обещал молиться за упокой Машеньки всю свою оставшуюся жизнь. Меня это не примирило со смертью Маши, конечно, нет, но как-то... успокоило. Знаете, после смерти нашей дочери я нашел в вере утешение, а Нина, наоборот, потеряла веру полностью. Странно, правда?

— Да нет, такое случается. И все-таки, я думаю, что по-настоящему помочь вашей жене могут только врач и священник — вместе.

Мы попрощались у дверей моего кабинета.

Я ехал домой, усталый и выжатый как лимон. И, проезжая в автобусе мимо Александровской Лавры, мимо кладбища и глядя на кресты и верхушки склепов, поднимающиеся над оградой, я вдруг вспомнил, кого мне напомнила ответчица!

Это было много лет назад, задолго до «перестройки». Поступил сигнал с одного из старинных петербургских, тогда еще ленинградских, кладбищ: управляющий сообщал, что на кладбище обосновались бомжи, ночами они жгут костерки в склепах, на которых варят себе «чифирь» — распространенный в среде уголовников крепкий напиток из чая — и готовят пищу, а в качестве топлива используют деревянные кресты и оградки. Это был не только беспорядок, это было крайне опасно: на кладбище мог возникнуть пожар и перекинуться в город. Я тогда еще учился на юридическом и как раз проходил следовательскую практику в районном отделении милиции, вот мне и пришлось участвовать в организованной на кладбищенских бомжей облаве. Мы действительно обнаружили в склепах и доставили в райотдел несколько компаний бомжей. Но один обитаемый склеп мы бы пропустили, если бы позади нас, когда мы уже прошли мимо, не раздался скрип осторожно приотворяемой двери склепа. Мы шагнули к нему, и дверь тотчас же плотно затворилась. Изнутри ее держал засов или замок. Пришлось нам эту дверь взламывать. Мы вошли внутрь и поначалу никого не обнаружили, но зато увидели в углу ворох тряпья и рядом дощатый ящик, а на нем бутылку с какой-то мутной жидкостью, половинку черного хлеба и вскрытую банку консервов: возле банки лежали консервный нож и ложка. А на чугунных завитках решетки небольшого оконца в ряд висели ситцевые торбы с каким-то барахлом. Но самое удивительное — в углу склепа фонарь высветил цинковое ведро, полное цветов.

— Благоустроенная квартирка! И где же ее хозяин? Уж не внизу ли, где гробы стоят? — посмеиваясь, спросил мой старший напарник. — Ну-ка, спустись вон в ту дыру!

Под одной стеной и впрямь в полу зияло чернотой квадратное отверстие.

— Может, лучше заставим подняться хозяина наверх? — предложил я. Честно говоря, мне совсем не улыбалось спускаться вниз.

— Верно. — Напарник подошел к краю Аиры, наклонился, посветил фонариком и крикнул: — А ну, выходи давай! Все равно тебя, считай, уже взяли!

На краю дыры появились две грязные руки, а потом и лицо существа неопределенного возраста и пола, изможденное и с какими-то страшными, прямо-таки горящими глазами под низко повязанным черным платком: потом уж я сообразил, что это свет фонаря их такими высветил в темноте. Но в ночном склепе, на фоне черной дыры, уходящей в нижнее помещение, где, может быть, стояли разграбленные гробы с останками покойников (мы туда так и не заглянули, так что не знаю, что там было, чего не было), глаза эти были ужасны. И точно такие же горящие безумным блеском глаза я видел во время сегодняшнего бракоразводного процесса на лице ответчицы. Глаза обитательницы кладбищенского склепа.

Как выяснилось потом, тетка, избравшая себе местом обитания склеп, сделала это не случайно, но и не совсем по своей воле. На вопрос оперативного дежурного, что за нужда загнала ее в склеп, она дерзко ответила: «Жизнь заставила!» Мне досталось допрашивать бомжа, оказавшегося бывшим интеллигентом. Его история уместилась в трех словах: начал пить и спился, жена выгнала из дому.

Я предложил ему чаю и сигарету, а он в благодарность рассказал мне историю обитательницы склепа. Оказалось, она прежде была медицинской сестрой и работала в онкологическом центре. Детей у нее не было, но зато был любимый муж. Жили они с ним долго и счастливо и так любили друг друга, что надеялись когда-нибудь умереть в один день. Но вдруг у ее мужа обнаружили рак. Она устроила его в центр, где работала сама, и ухаживала за ним самоотверженно, буквально не отходя от него. Несмотря на это, болезнь прогрессировала и через полгода он умер. Горе ее было огромно. Она стала ходить на его могилу каждый день. Умер он ранней весной, и она целые дни проводила на кладбище: сидела на скамеечке внутри оградки, разговаривала с фотографией мужа. Священник из кладбищенской церкви очень ее жалел. Он кормил ее в трапезной, утешал как мог, объяснял ей, что души усопших не живут под могильной плитой, а находятся у Господа. Он уверял ее, что покойному не нужны разговоры, тем более на кладбище, а нужна молитва. Но бедняга слушала и не понимала: она была и не крещеная, и не верующая. Вскоре она бросила работу, а когда настало лето, стала оставаться на кладбище ночевать: вечера пряталась от сторожей, а ночью спала на скамейке прямо в оградке. А когда подошла осень и наступили холода — нашла взломанный грабителями склеп и перебралась туда. Познакомилась с бабками, ворующими цветы с могил для продажи, и тоже превратилась в «синюху» — так зовут промышляющих кладбищенскими цветами женщин. Пока она жила в склепе, шло время, и соседи заявили сначала о ее исчезновении, а потом выписали ее из квартиры и заняли ее комнату. Так склеп стал ее единственным местом обитания.

Отвезли несчастную в спецприемник-распределитель, и что с нею стало потом, мне неизвестно. Надеюсь, что тюрьма ее спасла, но кто знает, кто знает...

* * *

А вот история с родителями погибшей Маши закончилась благополучно. Через месяц на новое судебное заседание истец пришел один. Он выглядел лучше, уже не казался таким измученным и даже улыбнулся, когда благодарил меня:

— Если бы не ваш совет, все так бы и продолжалось. Но в тот самый день, когда мы вернулись из суда, Нина закатила мне страшную истерику — с битьем посуды и швырянием мебели, с совершенно безумными обвинениями и угрозами: видимо, сказалось перенапряжение во время суда. И тут я вспомнил ваши слова и сообразил в какой-то момент, когда она билась в комнате Машеньки, выйти из квартиры, позвонить к соседям и от них вызвать скорую психиатрическую помощь. Потом я вернулся в квартиру, оставив дверь открытой. Явились врач с санитарями, бедную жену мою скрутили, сделали ей какой-то укол и увезли в психиатрическую больницу. Первое время я боялся встречи с ней, разговаривал только с врачами, а неделю назад мне сказали, что мне уже можно прийти к ней на свиданье. Она лежала такая тихая, спокойная. Увидев меня, улыбнулась и взяла меня за руку, и попросила прощенья. Лечащий врач говорит, что есть надежда на полное выздоровление: Ниночка понимает, что она больна, и хочет вылечиться. И наш батюшка ходит к ней, и она, кажется, начинает его слушать. Он тоже уверяет меня, что Нина поправится. Так что я уж заберу назад свое заявление о разводе. Вы не возражаете?

Конечно, я не возражал!

Белая занавеска в окне

— Папа... Па-па... Па-па-па... — тоненько позвал Кирюша и потом ждал, улыбаясь; вот улыбка у него сохранилась до сих пор: слабенькая такая, растягивающая его бледно-розовые губы на какие-то едва уловимые миллиметры. И все-таки это была не гримаса боли и не случайное произвольное движение, а именно улыбка.

— Сыночек, это не папа — это я! — сказала мама, садясь возле его кровати на стул.

— Папа... Па-па? — Кирилл постарался придать голосу вопросительную интонацию, чтобы мама поняла, что он вовсе не принял ее за папу, а спрашивает, где отец и скоро ли он придет к нему.

— Па-па? Па-па-па-па?

Голос еще немного поднялся, и мама догадалась:

— Ты хочешь спросить, где папа, Кирюша? Папа еще на работе, но тоже скоро приедет. Он обещал с дороги позвонить.

__Па-па... — прошептал Кирилл уже без вопросительной интонации.

— Да-да, сыночек, папа скоро приедет, — поняла его мама. Она взяла его слабую руку и положила себе на ладонь. — Ты чего-нибудь хочешь, Кирюша? У тебя ничего не болит? Пить не хочешь?

Его рука на маминой ладони осталась неподвижной. Когда Кирюша еще мог разговаривать, они разработали систему знаков: если он хочет сказать «нет» — он просто не отвечает, а если хочет сказать «да» — нажимает одним пальцем на ладонь.

— Хочешь, я тебе почитаю вслух? — «Да» ответил Кирюша легким нажатием среднего

пальца. — Что почитать — молитвы? — Кирюша не ответил: до прихода мамы он был один, то есть не совсем один — он теперь один вообще никогда не оставался, а в палате никого из людей с ним не было, никто его не тревожил, и он долго молился в тишине. — Книжку почитать тебе? — «Да» ответил Кирюша. — Сказку? — «Да». — Хочешь про «добываек»? — «Да». — Мама достала из тумбочки книжку и стала читать с того места, где они остановились прошлый раз. Это была чудесная волшебная сказка про маленьких человечков, живущих в старинном английском доме под полом и добывающих все нужное для жизни у людей. Они читали ее уже в третий раз. Но Кирюша слушал не сказку, а мамин голос и смотрел на белую занавеску в окне. Он знал, что это для всех других, даже и для мамы с папой, всегда задернутая занавеска в больничном окне остается просто белой: сам же он видел на ней четкий золотой силуэт, от которого сверху расходились лучи. От этой смутно видимой фигуры к нему струились покой, тепло и свет, а все остальные, даже мама и папа, не говоря о врачах и сестрах, находились в каком-то серо-голубом тумане. Лиц человеческих он уже не видел и силуэтов людей не различал. Он знал, что в один прекрасный день занавеска в окне отодвинется и он увидит Того, Кто пришел за ним уже давно, но терпеливо ждет, когда Ему можно будет подойти к Кирюше, взять его за руку и увести за Собой. Кирилл думал, что это его Ангел Хранитель, но точно не ведал и даже особенно не думал об этом: однако он знал, что все будет хорошо, когда они встретятся с Тем, Кто его ждет. А пока еще было не время, пока еще он должен был потерпеть и побыть с родителями, чтобы им было легче отпустить его с Тем, Кто ждет. Впрочем, терпеть ему с каждым днем становилось все легче. С тех пор, как он перестал двигаться, почти ослеп и стал очень плохо слышать, боли он тоже почти не чувствовал. Надо было только лежать совсем неподвижно и дышать очень тихо, и тогда можно было вспоминать, думать часами о чем угодно и молиться — тело его совсем не беспокоило, он не чувствовал, как из капельницы в него вливают лекарства. Хуже было, когда сестры или врачи откидывали легкое одеяло и что-нибудь с ним делали, — тогда старая мучительная боль неожиданно возвращалась. Ненадолго. И хорошо, что ненадолго, потому что Кирилл уже начал отвыкать от боли, забывать о ней — и она вдруг колола его неожиданно и остро, как большая игла. Тогда он тихонько стонал или кривился от боли, но чаще избавлялся от нее своим способом — молитвой. Он читал самую любимую из всех молитв, которые он успел выучить в больнице, — «Богородице Дево, радуйся!..» И стоило ему сказать мысленно первые слова молитвы, как он сразу же слышал ответ: «И ты радуйся, Кирюша! Потерпи, родной, сейчас тебе станет легче. А скоро боль оставит тебя навсегда, и ты забудешь о ней!» И боль тут же начинала отступать, отступала... и пропадала совсем.

«Он в таком состоянии уже почти не испытывает боли!» — говорил доктор маме с папой и Кирилл видел, что они начинают доктору верить. Вот и хорошо. Пусть они еще побудут с ним, посидят спокойно рядом, держа руки «семейным замком», пока это еще возможно. Это у них была такая игра, которую он придумал в первые месяцы болезни, когда и самому ему было очень плохо, и родители почти не выходили из состояния паники и страха за него, когда готовы были на любые жертвы, чтобы вылечить единственного сына. Три года они вытаскивали его из болезни, а он подтаскивал их друг к другу. У них не получилось, а вот у него — да, все-таки получилось! Кирилл подумал так и тут же устыдился: ну, это же не сам он придумал себе болезнь, ему ее дали потому, что он просил день и ночь: «Господи, сделай так, чтобы папа и мама не развелись! Возьми от меня все что хочешь, только помири их!» Наверное, у Бога не было другого средства их образумить, а то бы Он, конечно, обошелся и без Кирюшиной болезни. Но Кирилл не жалел о цене, которую заплатил за их примирение: вот уж чего он никак не хотел, на что не согласился бы, если бы его спросили, — так это остаться жить при разведенных папе и маме! В долгие часы без сна он иногда спрашивал себя, не зря ли он так настойчиво просил Бога любой ценой сохранить их семью? Он даже пытался представить себе, как это было бы, если бы он жил с одной мамой: у папы появились бы другие дети, и не было бы уже ни поездок вдвоем с отцом на рыбалку на дальние лесные озера, не было бы их

дружной возни в гараже с папиной машиной, ни игры в шахматы по вечерам... А если бы он остался с отцом? Он даже представлять себе не хотел, как это, например, засыпая, не почувствовать, как мама, закончив свою возню на кухне, тихонько входит в его комнату, подтыкает ему одеяло и тихонько целует его в макушку, которую он предупредительно выставлял наружу перед тем как заснуть... Даже сейчас, когда все уже было в порядке, когда папа и мама снова любили друг друга и искали друг в друге поддержки, когда уже и младший братик Костик родился, Кириллу страшно было вспомнить о том времени, когда в семье каждый день звучало страшное военное слово «развод».

Мама и папа думают, что Кирилл стал таким верующим во время болезни, потому что он надеялся выпросить у Бога исцеления. Как бы не так! Ему просто некого больше было просить, чтобы папа с мамой помирились, кроме Бога. Бабушки и дедушки в этом деле были бессильны, да они и не пытались воздействовать на его родителей. Вот и пришлось решать эту проблему Кирюше с Богом...

И запутавшийся в каких-то взрослых тайнах отец, и гордая, оскорбленная и непримиримая мама, узнав о его болезни, так и кинулись друг к другу, забыв и об обидах, и о каких-то там тайнах. Все перестало для них иметь значение, кроме Кирюшиной болезни. Вот тогда-то он и придумал «семейный узел»: Кирилл берет за запястье мамину руку, мама — отца, а отец берет рукой запястье сына. Получается крепкий «семейный узел». Он приучил их тоже думать, что таким «узлом» они все могут удержать друг друга. Поняв, что они помирились, Кирюша не стал просить Господа об исцелении — он оставил это на Его усмотрение. Он даже слегка побаивался: вдруг он поправится, а они возьмут и снова начнут разводиться. Нет, он был хитрее! Он начал просить Бога о младшем братишке. «Если я уйду, а у них останется маленький, вроде как вместо меня, так они уж точно побоятся разводиться!» — сочинял он счастливое будущее для семьи. И Бог ему ответил — вскоре мама поняла, что будет ребенок. И папа ему очень обрадовался! Кирилл же понимал: каждый из родителей надеялся, что заботы о втором ребенке помогут другому пережить, если случится худшее. Кирюша ничуть за это на них не обижался — он-то знал, что не расстанется с ними, даже когда за ним придут! То есть он все равно будет их любить, даже еще крепче будет любить — оттуда. Но им-то, глупым, это не объяснишь... И вот Костик родился, и теперь ему уже полгода. Братишка еще маленький, но ручонки у него цепкие, хваткие и сильные, и если положить его ручку на мамино запястье, а мама возьмет папу, а папа — Кирилла, то узел получается очень крепкий. И вот он, Кирилл, уйдет — а узел-то и останется!

Жаль, что Костика так редко приносят к нему: с ним сейчас сидят по очереди обе бабушки. Кирюша чувствует, для бабушек это большое облегчение, что не надо сидеть у него в больнице: они обе старенькие и боятся ходить именно в онкологическую больницу, а потому они с радостью взяли на себя все заботы о младшем внуке. Кирилл на них не обижается, ему самому нужны только папа с мамой: он спешил любить их изо всех сил и сам купался в их любви. Он только хотел, чтобы они научились любить его не временно, пока он еще тут, на земле, с ними, — а любить его вечно. Вот когда они поймут, что «семейный узел» не распадается и после смертей а любовь никуда не пропадает, — вот тогда и распахнется белая занавеска в окне и за ним придут... Скорее бы! Он знает, что ему будет немыслимо хорошо там, за занавеской. Ему уже так хочется туда, где уже не будет никакой боли, а только одна радость, как ему обещал Тот, Кто его ждет, Кто понесет его туда на руках...

Пришел папа. Подошел, сел рядом с мамой и спросил тихо:

— Как он сегодня?

— Все так же...

Кирюша напряг силы и чуть-чуть приподнял руку. Мама поняла, как всегда, первая: она подсунула свое запястье под его ладонь, Кирилл сжал его как мог, и мама подняла свою и его руку и сказала папе:

— Дай нам твою руку!

Папа протянул маме руку, а сам бережно взялся за запястье Кирюши. Папе показалось, что узел слишком хрупкий, и он подложил под него и вторую раскрытую ладонь, такую большую, широкую, надежную.

Кирюша смотрел на чуть колеблющуюся занавеску в окне и улыбался.

Мамина дочка

У начальника нашего отдела Петра Петровича померла жена. Перед тем она долго болела, лежала в больнице, а три месяца тому назад — скончалась. Петра Петровича с тех пор было не узнать — совсем поник человек, стал неразговорчив и даже немного опустился: иногда побриться забывал, а раза два приходил на работу без галстука. Слава Богу, на его работе, а значит, и на работе всего нашего отдела это не сказывалось: наоборот, он теперь уходил в дела с головой, на посторонние разговоры не отвлекался. Курить только стал больше. Но и курил в одиночку — выходил на балкон и там задумчиво стоял с сигаретой, глядя куда-то вдаль потемневшими глазами.

Ходить он стал на работу в одном и том же Костюме, который уже через две недели после похорон утратил достойный вид. Но когда кто-то осторожно сделал ему замечание, что пора бы костюм отдать в чистку — не один же он у него, Петр Петрович просто пошел в магазин и купил новый. На размер больше. Или костюм был привычного размера, а сам Петр Петрович похудел и стал на размер меньше кто знает, только висел тот новый костюм на нем, как на вешалке. Сотрудницы смотрели на него и вздыхали. Так прошел месяц, другой, полгода пролетело, а начальник наш все такой же печальный и только худеет.

— Вам бы жениться надо, Петр Петрович! — осмелела как-то Нина Федоровна, самая старшая из сотрудниц по возрасту.

— Это еще зачем? — нахмурился Петр Петрович.

— Чтобы хозяйка в доме была!

— Дочка и так места себе не находит, переживает очень, плачет по ночам, учиться стала хуже, двойки приносит, а я еще какую-то новую жену в дом приведу? Да ни за что на свете! Хозяйка у нас в доме была, а теперь вот нет, не будет и не надо! — отрезал он. — Так проживем. Как-нибудь.

Контора у нас скромная, государственная, зарплаты небольшие, и нанять домработницу Петр Петрович, несмотря на начальственное свое положение, никак не мог — сам справлялся. Как умел — так и справлялся. На углу здания, где мы работали, располагался большой супермаркет «Рамстор», и после работы почти все мы, женщины, туда забегали за продуктами. И Петр Петрович с нами. А покупал он всегда почти одно и то же — хлеб, молоко и масло, сыр и колбасу, а в качестве основной еды — замороженную пиццу и сосиски, да еще яйца.

— Вы бы хоть свежего мяса взяли или курочку, Петр Петрович! — посоветовали мы ему, как-то столкнувшись у прилавка с замороженными продуктами.

— А готовить кто будет? — резонно возразил он и отошел от нас, бросив в коляску несколько коробок пиццы. — Вот родственница обещала приехать к нам в отпуск на две недели, тогда и будут у нас настоящие обеды. А пока мы уж так...

И так оно и шло. Изредка кто-то снова намекал Петру Петровичу, что надо бы ему подыскать жену, а он сердито отмахивался и отмалчивался.

Однажды Петр Петрович пришел в контору уже и вовсе в неприличном виде: один Уголок воротничка рубашки был у него подивлен утюгом до явственной желтизны.

— Петр Петрович, да вы себе рубашку утюгом сожгли! — приглядевшись к нему воскликнула Нина Федоровна.

Против ожидания Петр Петрович не смутился, а расцвел и громко, на весь отдел, объявил с сияющей улыбкой:

— Это мне дочка рубашку погладила! Представляете? Девочке девять лет — а она отцу рубашки гладит! Правда, это первая, так что не совсем удачно у нее вышло. Ну да ничего, научится. В обеденный перерыв я в магазин зайду и поищу такую же рубашку, а эту спрячу и сохраню на память. Первая выглаженная дочкой рубашка! — Он понюхал, погладил любовно рукой сожженный воротничок и гордо объявил: — Хозяйка растет!

С этого дня наш Петр Петрович стал заметно приходить в себя и оживать. Рубашки на нем теперь всегда были свежевыглаженные и уже не подпаленные утюгом. А в пятницу он удивил нас в «Рамсторе»: подошел к нам и деловито попросил:

— А ну-ка, девушки, помогите мне выбрать хороший кусочек мяса для супа!

— Родственница приехала? — спросили мы и обрадовались: ну, теперь нашему начальнику полегче станет!

— Нет! Дочка моя собирается суп варить. Говорит, что помнит, как мама это делала, она же ей помогала на кухне, когда та еще здорова была. И вот решила самостоятельно полный обед приготовить! Но котлеты я ей куплю, конечно, готовые. Поможете выбрать?

— Ох, Петр Петрович! Да разве она справится? А хотите, я приеду и сварю вам обед? — предложила Верочка, молодая и незамужняя наша сотрудница.

— Нет, Вера, спасибо вам большое, но лучше не надо. Не хочу я мою маленькую хозяйку обижать недоверием.

Мы, естественно, помогли ему выбрать и мясо, и котлеты. Вдобавок к покупкам он купил большой торт.

— Зачем вам на двоих такой большой торт? — спросили мы. — Взяли бы поменьше.

— Ну нет! В честь парадного обеда и торт должен быть парадный. Да вы не волнуйтесь: что останется — поставим в холодильник и будем после доедать.

В понедельник все как одна сотрудницы накинулись на Петра Петровича с расспросами:

— Ну, и каким же обедом вас дочка накормила? Рассказывайте!

Петр Петрович расплылся в довольной Улыбке и откинулся на стуле, победно оглядев

собравшихся вокруг женщин.

— Обед как обед. На первое рисовый суп на мясном бульоне, на второе картошка с котлетами, а на третье чай с тортом.

— И что — все можно было есть? — недоверчиво спросила Нина Федоровна.

— А то! Я ел да нахваливал. Котлетки, правда, самую чуточку недожарились, но сегодня, надо полагать, дожарятся до конца: она же на два дня обед готовила. А картошка была сварена в самый раз и даже посолена в меру. С супом вышла маленькая незадача, и вы, девушки, нам тут должны помочь советами. Доченька моя помнила, что мама минут за десять до окончания варки клала в суп приправы, а вот какие — не заметила. Ну она и положила все подряд: перец, лавровый лист, гвоздику, корицу и мускатный орех. Я-то ей тоже ничем в этом вопросе помочь не мог.

— Мускатный орех — в суп, подумать только! Ну и как же вы, Петр Петрович, ели этот суп? — спросила Верочка с ужасом.

— Ел. Чихал, но ел. Удивительно вкусный был суп, если не считать запаха! Но мы потом тортиком все заели.

— Ну, поздравляю вас, Петр Петрович, с маленькой хозяйкой! — сказала Нина Федоровна.

— Спасибо. Это ведь и вправду маленький праздник был у нас. Но только вы мне теперь подскажите, какие приправы и сколько надо в суп класть, а я уж дочке передам. Заодно посоветуйте, какую бы мне кулинарную книжку для нее купить, чтобы попроще была?

— А есть, Петр Петрович, такая специальная книжка для девочек, называется «Маленькая хозяйка».

— Спасибо, Нина Федоровна! Сегодня же заеду в книжный магазин и спрошу!

С этого времени наш Петр Петрович стал с каждым днем оживать и меняться к лучшему. И курить стал меньше, предпочитая вести разговоры с сотрудницами отдела о домашнем хозяйстве, явно с целью потом передать их советы дочери. А женщины с искренним интересом расспрашивали его, что он ел накануне на ужин и сегодня за завтраком.

— На ужин у нас вчера были просто восхитительные макароны с потрясающим томатным соусом! — говорил он с гордостью. — А на завтрак вареные яйца. Всмятку!

— Вот вы и оживать стали, Петр Петрович, отходить от горя начали, — как-то сказала ему Нина Федоровна.

— Это все доченька, хозяйка моя дорогая! Она и сама ожила, плакать по ночам перестала. И учиться, представьте, лучше стала, несмотря на все свои хозяйственные заботы!

А я-то как приду с работы и увижу, что она в мамином передничке у плиты хлопочет, обед мне разогревает, — и знаете, Нина Федоровна, — тут он понизил голос, — кажется мне, что за ее спиной невидимо стоит наша мама и подсказывает ей. Как будто помогает. А может, так оно и есть? Ведь она мамина дочка!

Большая стирка

Сны Ольги Павловны

— Мамочка, ну поехали со мной в Изборск, пожалуйста! Как я тебя тут одну оставлю в таком состоянии? Я бы сама с тобой осталась, но у меня же школа, сама понимаешь! — Лидия Николаевна работала директором школы и после похорон отца должна была вернуться к себе в Изборск, а мать никак не соглашалась ехать с нею.

— Не могу, доченька, никак не могу, и не проси! — говорила Ольга Павловна. — Как я папу одного сразу оставлю, могилку его брошу? И дел у меня дома полно: надо все убрать, перестирать...

Квартира родителей и впрямь за время долгой болезни отца была запущена: окна не вымыты с прошлого года, хотя уже был конец мая, шторы тоже давно не стирались, пыли кругом полно. — Да брось ты все, мама! Поедешь со мной поживешь на свежем воздухе, отвлечешься немного от горя... А потом у меня будет отпуск, и мы вместе вернемся и сделаем и уборку, и даже ремонт.

— Нет-нет, не уговаривай, Лидуся, не поеду! У меня одной стирки сколько...

— Ну так давай все соберем и в прачечную сдадим!

— Нет, папины вещи я должна сама все перестирать.

— Ну а это еще зачем? Папа никогда ничего не имел против прачечной, он даже сам иногда туда белье носил и приносил обратно.

Лидия Николаевна улыбнулась, вспомнив, как ее отец, бравый капитан первого ранга, помогал «своим девочкам» по хозяйству, когда бывал не в море: сам ходил на рынок за картошкой, делал разный мелкий ремонт в квартире и разбирался с прачечной. Он только требовал, чтобы грязное белье было сосчитано и переписано дома и аккуратно сложено в чемодан: он не то что с узлом каким-нибудь, но и с дорожной сумкой стеснялся ходить по улицам, будучи в морской форме. А без формы он и не ходил никогда, разве что летом в отпуске, на юге.

— Папины вещи надо отдать бедным, — сказала Лидия Николаевна матери. — Нельзя их хранить, это не по-православному.

— Папа твой не такой уж и православный был, Лидуся. Скорее, как я: Бог у нас в душе, а не в храме. Это ты у нас неизвестно в кого такая церковница уродилась, а папа и в церковь никогда не ходил.

— Ходил! И меня водил в детстве в Никольский собор, мы с ним свечки ставили.

— Ах, ну это у них, у моряков, такая традиция была — перед выходом в рейс пойти в Никольский собор и поставить свечку Николаю Угоднику. Собор-то так и называется — Морской.

— Значит, все они были верующими, хоть и не церковными, вот святитель Николай за них и молится.

— Очень помогли молитвы твоего Никола Угодника моему Николаю! Сколько же он страдал, бедный, перед смертью!

— А священника ты так к нему и не позвала, не соборовала его, как я просила?

— Нет, доча, не стала я звать священника, не решилась, пугать папу не захотела.

— Что значит «пугать»? Как это можно человека священником испугать?

— Он увидел бы священника и сразу догадался, что умирает. Да еще соборование это которое, говорят, никому не помогает...

— Ты думаешь, мама, умирающие не догадываются, что умирают? Это мы вокруг них заговор молчания устраиваем, головы морочим вместо того, чтобы помочь к смерти подготовиться. И как это «соборование не помогает»? Откуда статистика — «из лесу, вестимо»? Ох, мамочка, мамочка... Соборование если даже не исцеляет человека, то очищает его душу, облегчает ему переход в другую жизнь. Между прочим, многие врачи говорят, что после соборования даже у тяжелых раковых больных часто прекращаются мучительные боли.

— Ну что уж теперь говорить...

— Да, это верно. Слава Богу, хоть похоронили по православному обряду. Ты не забудь, мама, что через два дня будет девятый день, обязательно надо будет панихиду по папе заказать. Я тоже у себя в Изборске закажу.

— Опять панихида? Мне так тяжело было в церкви, доченька, что уж и не знаю, выдержу ли еще одну... Это что, положено так?

— Да, мама. И на сороковой день тоже обязательно. Послушай, давай я на сороковины папины приеду, мы вместе отстоим панихиду в храме, закажем литию на папиной могиле, а потом вместе поедem ко мне.

— Там посмотрим...

Но на сороковины отца у Лидии Николаевны приехать в Петербург не получалось: в школе начался летний ремонт, надо было остаться и приглядывать за рабочими-гастарбайтерами. Она позвонила матери и снова принялась звать ее в Изборск.

— Нет, доченька, не проси, не приеду. Дел у меня много... Стирка большая...

Что это у тебя, мама, все стирка да стирка! Что же ты там стираешь так долго?

— Да все папины вещи...

Лидия Николаевна поворчала на мать, но смирилась. А перед началом учебного года сама поехала за ней, заставила бросить свою «большую стирку» и все-таки увезла ее в Изборск.

И после первой же ночевки Ольги Павловны в Изборске все разъяснилось. Лидия Николаевна вставала всегда рано. Она привела себя в порядок, помолилась, приготовила завтрак на двоих и пошла будить мать-и застала ее лежащей в постели всю в слезах.

— Мамочка, что случилось?

— Коля... Папа твой... Коля и здесь мне приснился! Я думала, что хоть тут у тебя смогу спокойно спать, без этих мучительных снов! Ведь каждую ночь, ну просто каждую ночь!.. — она зарыдала, уткнувшись в плечо дочери.

Когда она выплакалась, Лидия Николаевна заставила ее подняться с постели и повела умываться. А за завтраком спросила:

— Так папа, значит, все время тебе снится, да, мамочка?

— Почти каждую ночь. Если только совсем со стиркой замучаюсь да снотворных наглотаюсь — тогда бывает перерыв...

— Расскажи мне, как он тебе снится?

— Ох, доченька, это так тяжело, так тяжело...

— Все равно расскажи, тебе же легче станет.

— Понимаешь, сон мне один и тот же снится. Сначала я слышу звонок в дверь, иду, открываю — а там стоит наш папа. Но в каком виде! Форма на нем полинялая, рукава обтрепаны, нашивки «краба» на фуражке нет, а сама фуражка вообще выгорела до зелени и рубашка грязная, а воротничок просто черный; и ботинки у него не чищены, шнурки в узелках, а галстук в веревочку закручен; сам он худой и небритый, щетина на лице и усы отросли и обвисли. Ты же знаешь, какой аккуратист и чистюля был твой отец, он ведь уже и лежа в постели сам каждый день брился.

— Господи! — воскликнула Лидия Николаевна, во все глаза глядя на мать, и тоже заплакала.

— Погоди, это еще не самое страшное.

А в руках у папы узел: грязное белье, увязание в серую грубую простыню, по виду бязевую — каких у нас и дома-то никогда не было. И вот он каждый раз протягивает мне этот узел и просит: «Оля! Ну постирай же ты мне белье! Ведь я тут хуже всех одет, перед людьми неловко... Мне тут хорошо, но так стыдно, так стыдно перед всеми за свой вид! Ты уж постирай, Оленька!» И слезы у него по щекам небритым так и катятся... Ну я и просыпаюсь уже в слезах и потом целые дни напролет плачу. Все-все его белье я перестирала-перегладила, все рубашки его накрахмалила! Костюмы его не стала в чистку сдавать, а сама своими руками выстирала и потом тщательно отпарила. И ничего не помогает! Я думала, что хоть здесь он перестанет мне сниться, так ведь нет, вот в первую же ночь и приснился... — И Ольга Павловна опять горько заплакала.

— Ах, мамочка, глупенькая ты моя мамочка! Неужели ты не понимаешь, о чем папа тебя просит, о какой стирке он говорит?

— Об одежде, о белье...

— Да нет же! Это только образ того, что ему от тебя надо, — ну, чтобы ты догадалась и сама поняла.

— Что я должна понять?

— Что надо молиться Богу о прощении его грехов — вот о какой стирке речь!

— Ты думаешь?

— Да я в этом уверена! Папа говорит с тобой тем языком, который тебе понятен Одежда, белье — это символ его нераскаянных, неотмытых грехов.

— А почему же он снится не тебе, ведь ты у нас в этом лучше разбираешься — в грехах?

— Да потому, что я — его дочь, а дети, конечно, могут и должны молиться за родителей, но только об их грехах им нечего размышлять. А вот ты — ты совсем другое дело: кто лучше знает грехи мужа, чем его жена? Вы же с ним были и остались одна душа.

— Это верно, мы всю жизнь с ним душа в душу прожили. Так что же я должна теперь делать, по-твоему?

— Отмаливать папины грехи. Записки на Литургии за него подавать, поминание в храмах и монастырях заказывать, милостыню раздавать. Но прежде чем все это делать, самой тебе исповедаться надо и причаститься.

— Ох! Я ведь последний раз причащалась в двенадцать лет, когда еще твоя бабушка была жива. С тех пор полвека прошло! Но я готова. В Бога-то я верю как-никак... Да пора же и мне о душе подумать, годы напоминают. Так ты думаешь, это ему поможет, если я начну жить церковной жизнью и о нем молиться?

— А вот сама увидишь!

В пятницу после занятий Лидия Николаевна поехала в Печоры: там жил и служил ее духовник, иеромонах отец Василий.

— Батюшка, дорогой, а у меня для вас подарок! Я к вам одну заплутавшую душу хочу привести на беседу, ну и на исповедь, если получится.

— Еще одну заплутавшую душу? Да уж ясно, какие от вас подарки мне, старому! Нет чтобы носочки связать батюшке и успокоиться на этом, как другие прихожанки, а вы все души да души мне доставляете! — засмеялся отец Василий. — Душа-то хоть православная на этот раз?

— Православная. И даже когда-то в храм ходила и причащалась.

— И как давно эта ваша душа у исповеди не была?

— Пятьдесят лет, батюшка!

Ахти мне, иерею немощному! — ахнул батюшка. — Да, вот уж подарочек! Ну, ведите, ведите свою заблудшую душеньку. И поскорей ведите, а то уведут лукавые в сторону.

Вы-то уж знаете, как они действуют, когда кто-то в храм направляется.

— Бесовские шлагбаумы?

— Они самые.

— Так можно ее прямо завтра на всенощную привести, чтобы потом вы с нею побеседовали?

— Нужно! Ведите!

Но узнав, что «заблудшая душенька» — родная мать Лидии Николаевны, отец Василий беседу в субботу отменил.

— Едем прямо сейчас к вам домой! — заявил он и быстрым шагом направился к своей машине, старенькой, разбитой на псковских дорогах «Волге». Они поехали в Изборск, домой к Лидии

Николаевне. Там он имел сначала долгую беседу с Ольгой Павловной, а потом исповедал ее. А после исповеди еще чайку с ними попил и о снах с ними поговорил.

— Про такие сны я часто слышу. Мы о них ничего не знаем: может, это собственные наши душа и совесть нам через сон подсказывают, как именно мы можем и должны нашим умершим послужить, а может, это сам Господь Бог, по великому и неизъяснимому Своему милосердию, дает нашим дорогим отшедшим возможность во сне поведать нам о своей нужде. Святые отцы учат большой веры снам не давать, потому что сны и бесами насылаются. Но такой сон, следствием которого явится ваш собственный приход в храм и ваша усиленная молитва за усопшего супруга, — это уж точно не от бесов!

В эту ночь Ольге Павловне снова приснился муж. Он стоял все в той же заношенной морской форме, но уже не плакал и ни о чем не просил — только смотрел на Ольгу Павловну умоляющими глазами. На следующий день, в субботу, она на местном автобусе поехала с дочерью в Печоры на всенощную, а после службы еще раз исповедалась и потом дома слушала, как дочь читает долгие молитвы — «Последование ко святому причащению». Она так устала от новых впечатлений, что после молитв уснула сразу и очень крепко, и в эту ночь ей ничего не снилось.

В воскресенье она причастилась — впервые после пятидесятилетнего перерыва; на этой Литургии она впервые подала записку за упокой раба Божьего Николая. А в понедельник она на рассвете пришла в комнату Лидии Николаевны и разбудила ее.

Доченька, проснись! Ты только послушай, что мне что приснилось! Снова во сне услышала звонок, открыла дверь и увидела твоего папу. Он стоял такой радостный, помолодевший, свежевыбритый, в новенькой форме и белоснежной рубашке. А в руке у него был маленький чемоданчик, с которые он обычно уходил в рейс. Помнишь?

— Помню, мама. Он еще после рейса в нем рубашки в прачечную относил.

— Вот-вот! И говорит он мне: «Спасибо тебе, Оленька! Теперь и я одет не хуже других и мне больше не стыдно. Вот еще бельишко осталось, ты уж постирай, ладно?» — и протягивает мне чемоданчик. А я его беру и тут же просыпаюсь. И у меня так легко-легко на сердце! Я никак больше не могла оставаться в кровати, ты уж прости, что я разбудила тебя!

— Ничего, ничего, мамочка! Правильно сделала, что меня разбудила. Ну вот, теперь ты веришь, что исполнила его просьбу, правда?

— Да, мне тоже так кажется! — сказала Ольга Павловна и... заплакала. Но это были уже слезы облегчения и радости.

С тех пор такие сны Ольге Павловне уже больше не снились.

Красная рубаха с васильками

«Страшнее моего горя и на свете не бывает!» — сказала по телефону моя подруга Татьяна, когда я позвонила ей в Вятку, узнав о ее несчастье. В общем-то я с нею была согласна: какое горе может сравниться с потерей единственного сына, двадцатитрехлетнего здорового молодого человека, только что закончившего институт, успешно начавшего самостоятельную жизнь и, между прочим, собиравшегося вот-вот жениться?.. И смерть какая-то странная, наводящая ужас и оторопь: он скончался во сне от остановки сердца, ничем перед этим не болея ни одной минуты, и причину смерти врачи установить так и не смогли. Потеря

маленького ребенка — страшная беда и тяжелое переживание, но у молодой мамы есть хотя бы надежды родить другого, а вот у Татьяны, которой было уже далеко за сорок, такой надежды уже не было. Да и муж ее умер лет пятнадцать тому, назад, тоже, кстати, от остановки сердца во сне, как и Владик. Больше она замуж не вы ходила и даже не пыталась, решив всю жизнь отдать единственному сыну...

Часами беседовали мы с Татьяной по телефону; чем я еще могла помочь ей, если между нами сутки езды на поезде? Так прошло полгода, и я видела, что горе ее остается таким же безысходным и даже не притупляется. Надо было изловчиться, выкроить время и просто поехать к ней и там на месте смотреть, что можно сделать. В общем, отправилась я в Вятку, по дороге в поезде размышляя, чем же мне помочь моей подруге, как ее утешить, как помочь выползти из-под придавившей ее каменной беды? И как объяснить ей, маловерной, что в таком горе может помочь только одно — молитва Господу? Причем поможет это и ей, и ее сыну. Вот последнее объяснить оказалось труднее всего.

— Танюша, но ты же верующий человек, ты же должна понимать, что сын тебя покинул не навсегда, придет время — и вы с ним встретитесь! А сейчас ты можешь помочь твоему Владiku молитвами, милостыней, — завела я по пятому кругу, когда мы наполнили водой и включили третий электрочайник.

— Это ты так говоришь!

— Не я, а Православная Церковь и Святое Писание.

— Ну да, я знаю, слыхала, читала... И батюшка в храме мне то же самое сказал, когда Владика отпевали... Но я все время думаю, а что, если наша Церковь ошибается, и никому из умерших молитвы оставшихся на земле на самом деле не помогают?

— Слезы твои, думаешь, Владiku очень помогают?

— Да нет, конечно. Только как же мне не плакать?

— Плакать о нем ты будешь всегда, и через двадцать лет вспомнишь и всплакнешь, но это нормально. Однако забиваться в угол и делать из этого плача образ жизни — это уж точно бесполезно для него! Вместо того, чтобы сидеть в темном углу и плакать, ты могла бы съездить в паломничество по монастырям, помолиться о сыне нашим святым, заказать везде поминания за Владика, раздавать за него милостыню... Ты разве уверена, что у него не было грехов? Он ведь не успел покаяться перед смертью...

Да, он, слава Богу, умер во сне, скорпостижно... Я утром подошла его будить — а он холодный! Одно мне утешение — не мучился.

Насчет предпочтительности скорпостижной смерти без покаяния я с Татьяной была решительно не согласна, но спорить уж не стала.

— Ты вот о чем подумай, Танюшка: сыну твоему сейчас очень нужны твои молитвы ведь он не успел перед смертью покаяться получить отпущение грехов. Ведь Владик твой был не особенно церковным человеком вроде тебя самой...

— Ну уж совсем нецерковными нас никак нельзя назвать! На Пасху мы вместе с сыном всегда в храм ходили и куличи святили. А на Крещение я за святой водой обязательно хожу — вон она у меня до сих пор под иконой стоит...

— На книжной полке.

— Ну и что? У меня ж на этой полке не женские романы или детективы стоят, а полное собрание сочинений Льва Толстого! И разве по церковным правилам нельзя иконы и святую воду на книжных полках держать?

— Можно, отчего нельзя? Хотя лучше, конечно, было бы устроить молитвенный уголок — «красный угол», как говорили в старину... Вставала бы утром, зажигала лампадочку и начинала день с молитв Богу о своем сыне — как бы ты этим Владика утешила, помогла ему.

— Ничего ему теперь не нужно, сыночку моему, и никакие молитвы ему не помогут!

— Как же ты ошибаешься, Танюша... Не молились бы мы, православные, постоянно, и в храме, и дома, за наших дорогих усопших, если бы не верили, что им помогают эти молитвы. Уж за две-то тысячи лет Православная Церковь успела выяснить, что православным полезно, а что нет! Нужны молитвы нашим умершим, очень нужны.

— А вот я в это не верю, не могу поверить! Пустая болтовня!

— А я — верю. И миллионы православных по всей земле верили и верят и ежедневно возносят молитвы Богу, чтобы Он отпустил грехи «всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения православным христианам».

— Да какие там у моего Владика были грехи! Он был умный и чистый мальчик.

— Он был очень хороший сын и умница, это так. Но уж поверь, все мы, кроме святых, предстаем перед Богом не в белоснежных Ризах, а в рубище, и всем нам нужно прощение грехов. Вот во время Великого поста в храме поют: «Чертог Твой вижу, Спасе мой, Украшенный, и одежды не имам, да вниду в оны; просвети одеяние души моея и спаси Мя». Тебе понятны эти слова, Танюша?

— Честно говоря, не очень. Отдельные слова только — «чертог украшенный», «одеяние души»...

— Тогда послушай, как переложил эту молитву на стихи поэт Вяземский! — И я прочла ей:

Чертог Твой вижу, Спасе мой,
Он блещет славою Твоею,
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать перед Тобой.
О Светодавче, просвети
Ты рубище души убогой.
Я нищим шел земной дорогой,
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам своим причти.

Русскую классическую поэзию Татьяна любила, она слушала меня внимательно и задумчиво.

— Вот это понятно. Поэт хотел сказать, что перед Богом мы все грешные и духовно одеты не лучше нищих или бомжей.

— Именно!

— Значит, и мой Владик... тоже?

— Ну не благочестивей же он Петра Андреевича Вяземского!

— Да нет, он был обыкновенный современный молодой человек.

— А современные молодые люди отнюдь не безгрешные. Так что и у Владика «одеяние души» навряд ли было в полном порядке перед смертью.

— Наверное... Но что ж я-то теперь могу с этим поделать?

— Татьяна! Так я же тебе именно об этом и толкую уже третий час! Ты можешь помочь ему молитвами о прощении его грехов, вольных и невольных.

— Если бы я была твердо уверена, что ему нужны мои молитвы и что они и вправду ему помогают, я бы день и ночь молилась. Но как это проверить?

— А ты поверь не проверяя!

— Не получается у меня...

— Сомнения мешают?

— Да, они самые.

— А пока ты ТУТ сомневаешься, он ТАМ печалится, что любящая мать не хочет помочь ему и даже не пытается обновить его духовную одежду... Знаешь, мне вспомнилось одно подходяще к случаю сказание. Вот послушай! — И я рассказала Татьяне старинную поморскую сказку.

На южном берегу Студеного моря, так старину называлось Белое море, стояло рыбацкое селенье Олениха, и жила в нем красавица-вдова Василиса с сыном-рыбаком Василием, Васильком. Муж ее погиб обычной для рыбака смертью: вышел в море на лодье со своей рыбацкой ватагой тюленя бить и не вернулся. И никто из рыбаков с той ловли не вернулся, и лодья пропала, даже щепок к берегу не прибило. Осталась Василиса одна с сыночком Васильком. Сына она любила так крепко, что замуж больше ни за кого не пошла, хотя сватались многие, и все свое нерастраченное сердце отдала молодая вдова сыночку-сиротинке. Но как ни лелеяла сына Василька вдова Василиса, а как подрас парнишка, пришлось и ему взяться за рыбацкий промысел, только не за тюлений, а за «вешний». В Оленихе этим делом занимались те рыбаки, у кого не было своей лодьи. Промысел назывался «вешним», а рыбаков называли «вешняками», и был этот труд куда как нелегкий и опасен. Еще в разгар зимы выходили крестьяне-рыбаки из своих сел и деревень и шли на север, на Мурман, и к весне только доходили они до губы Студеного моря, к мысу Святой Нос, и поспевая как раз к весеннему ходу трески. Выходили «вешняки» из села в разгар зимы, когда гудят бураны и трещат морозы, а возвращались в конце августа, а то и в сентябре. До рыбацких становищ добирались они долго и трудно, кто как мог — на лыжах, лошадях, пешком, на оленях. Путь их нелегкий так и назывался в народе — «мурманская дорожка». Шли «вешняки» через пустынные места, заселенные не только своими поморами, но и лопарями-саами, жилье в пути попадалось редко; рады были «вешняки» переночевать на саамской стоянке, а то и просто в саях. Ветра в тех голых краях дули с севера сильные, студёные, и часто в пургу или особенно лютый мороз рыбаки-«вешняки» замерзали прямо в пути; хоронили их в снегу, без могил, а отпевали уже потом, когда возвращались в родные края. А впереди было море и нелегкий рыбацкий промысел, штормы и туманы, так что и в море Студеном гибли многие. Нередко их еще и на льдинах весенних уносило в океан, откуда уже мало кто возвращался — разве что

случайное судно, свое или чужое, заметит и подберет... Два года подряд Василий ходил на «вешний промысел» удачно, вернулся хоть с небольшими, но деньгами, а на третий год ушел зимой и не вернулся осенью. Возвратившиеся в Олениху рыбаки рассказали Василисе, что Василька с товарищами, ловивших треску со льда, ветром внезапным унесло на оторвавшейся льдине в открытую воду, в океан. Света невзвидела бедная вдова, билась три дня, к морю рвалась — за сыном, еле удержали соседи. Потом опомнилась, затихла...

Прошел год, другой. Василиса горюет, плачет, сыночка любимого забыть не может. И вдруг однажды ранним зимним синим вечером — тук-тук-тук! — стучится кто-то в окошко: «Открой, матушка, я с доброй вестью к тебе!» — и на крыльце пимы загрохотали, снег отрясая. Вздогнуло и упало было от радости сердце Василисы, но нет — не Василька это любимый голосок, не его и повадка. Отворилась дверь, и в избу вошел незнакомый человек, явно не бедный: на плечах хороший полушубок из белой овчины, на голове — треух из молодого оленя-пыжика. Стащил незнакомец треух с головы, поклонился трижды в красный угол на иконы, потом один раз — хозяйке да и говорит:

— Ты и есть вдова Василиса, матушка?

— Да, я.

— А сына у тебя Василием зовут?

— Звали Василием... Да утонул мой сын Василек два года назад, — и заплакала, как водится.

— А вот и не утонул твой Василек! Радуйся, матушка, жив он и здоров! За морем живет и скоро женится, а потом и к тебе в гости приедет! — сказал вестник. И тут же имя свое назвал — Трофим.

Поведал Трофим обомлевшей Василисе удивительную историю. Не погиб, оказывается, дорогой ее сыночек, а чудом спасся. «Не иначе как по вашим молитвам, матушка!» — добавил в этом месте Трофим. Льдина, на которой рыбаков-«вешняков» в море унесло, еще раз раскололась, да так, что на одной ее половине все рыбаки остались, а на другой — один Василий. Хотел он уже в воду броситься, чтобы доплыть до товарищей, но сообразил, что это верная смерть — плыть в ледяной воде на таком студенном ветру: коли и доплывет, так согреться на льдине будет нечем! И остался он, решил предать себя воле Божьей. И правильно, как оказалось потом, Василий решил: неделю и еще полдня просидел он один на льдине, оголодал, ел снег, края рукавиц овчинных изжевал, а согревался — молитвой. Много он в эти дни молился — Спасителю, Божьей Матери, Василию Великому, своему небесному покровителю да Николаю Угоднику, защитнику всех ходящих по водам морским. Недаром говорят, что тот не молился, кто море не бывал. За полдень седьмого дня увидел Василий у окоема небольшое судно — шхуну с двумя склоненными назад мачтами. И со шхуны его тоже заметили, свернули с пути и подняли почти бесчувственного со льдины. Напоили и растерли его норвежским ромом закутали в сухую оленью шкуру. Придя в себя, первым делом Василий спросил, куда идет корабль. «В Северную Норвегу! — ответили ему. — Лес, сало и хлеб везем!» Встрепенулся Василий: «Мне к русскому берегу надо, братцы! Может, лодчонку какую дадите?» Засмеялись моряки: «Нет у нас лишних лодчонок, паря! А идем мы в Варгаев, там наш порт. Но ты не горюй, к русскому берегу мы тоже скоро пойдем, когда рыбу и ром из Норвеги в Россию повезем!» Судно принадлежало русскому купцу, торговавшему между Норвегией и Русью, а жившему в Варгаеве. Купец, а был это отец Трофима, расположился к молодому храброму рыбаку и по прибытии в Норвегу взял его к себе в дом выхаживать: Василий все-таки на льдине промерз сильно и как в тепле на шхуне оказался так тут же и расхворался.

Недели две отлеживался он, а потом встал и работу попросил: «Должен я за провоз и заботу хозяину отработать!» Честность такая купцу по нраву пришлась и начал он Василия, как только тот окреп, к торговому делу приучать. И с Трофимом Василий подружился, стали они не разлей вода, словно дружные родные братья. А боле всего он сестре Трофима Липушке по сердцу пришелся. Года не прошло, как заметил купец, что между молодыми пошли переглядюшки, подумал да и благословил их на честный брак, уж очень ему молодой помор понравился. Только велел он и у матери Василия тоже благословение получить. «Как хочешь, так и добудь, а чтобы мне благословение от матери твоей было!»

— И вот, матушка Василиса, вскоре послал меня отец с обозом норвежской рыбы в Санкт-Петербург, по «мурманской дорожке», а Василий и говорит: «Выручай, брат Трофимушка!» — и попросил он меня по дороге в село Олениха завернуть, оно, мол, по дороге, его Все рыбаки-поморы знают. Так и оказалось, Легко я тебя нашел. Так что просит тебя, матушка, твой сын Василий вышить ему его праздничную красную рубаху васильками — это и будет, сказал, ему от тебя на свадьбу материнское благословение! Так что на обратном пути из Петербурга я снова к тебе заеду ближе к Пасхе, и рубаху вышитую для Василька заберу. Свадьба-то у него с сестренкой моей на Красную Горку назначена, так что ты уж поспеши с рукодельем-то!..

Переночевал Трофим в избе у Василисы как у будущей родственницы, а наутро ушел с обозом в Петербург. А Василиса достала из сундука красную шелковую рубаху сына, которую он только на Пасху надевал в Божью Церковь, достала и моточек синего шелка, иголку, села на лавку под окошком, где светлее, да и призадумалась. Сомнения ее стали одолевать: уж больно складная да гладкая история у Трофима вышла! Уж не лихой ли он обманщик, который решил хитростью выманить дорогую шелковую рубаху у бедной вдовы да еще и заставить ее расшивать рубаху ту заветную цветами-васильками? А ну как никакого купца в Норвеге с дочерью-невестой вовсе и нет?

Сидит Василиса у окна с красной рубахой на коленях: вышьет один василек — и отложит рубаху, сына вспомнит и не верит, что жив он и ждет от нее шелковую красную рубаху с синими васильками, материнское ее благословение на свадьбу. Заплачет она, бросит свое рукоделье и уйдет на берег моря о сыне горевать да плакать — потом мнится: — Да что ж это я? Время-то идет,

а у меня еще и ворот не готов, а ведь еще и рукава расшить надо!» — бросится домой, схватит иголку и снова шить. Пошьет немного и опять сомнительные думы ее одолевают. И сына, коли жив он, ей жаль — как же он без ее материнского благословения под венец невесту поведет? — но и трудов своих напрасных жаль, а главное — обидно за обман, да и рубаху шелковую лихому человеку отдавать задарма нет охоты! Так, говорят, все сидела и сомневалась... Может, и до сих пор сидит, сомневается.

* * *

— Ну, а конец-то у сказки какой? — спросила Татьяна, слушавшая меня с детским вниманием, вся захваченная нехитрой поморской историей. — Не может старая сказка так неопределенно кончаться, это ж не новомодный психологический роман, где финал остается открытым из литературного кокетства!

А вот, представь, не знаю! — схитрила я, — Не помню! Ты уж сама конец сказки придумай, Танюша! — И с этими словами я подругу свою оставила в размышлениях и уехала к себе в Петербург, домой.

Но вам я расскажу конец истории самой Татьяны. Вернувшись в Санкт-Петербург я как-то

закрутилась в делах и не сразу позвонила ей, а когда наконец собралась — не застала ее дома. Потом, уже месяца два спустя, она сама мне позвонила и сказала, что все еще думает над концом поморской сказки. А еще сказала, что побывала она за это время паломницей в двух святых местах — в Трифоновом мужском монастыре и в женском Христорождественском, в своей Вятской епархии. Мне показалось, что голос у нее стал намного спокойней, не такой измученный и без этих отчаянных высоких нот.

Через год я получила от Танюши письмо, а в конверте были: открытка с видом Христорождественского монастыря и красная шелковая закладка для книги с вышитым на ней синим васильком. Письмо на открытке было очень короткое: «Спасибо за поморскую сказку, дорогая, она меня вразумила. Сейчас я живу трудницей при обители, что будет со мной дальше, пока не знаю. Но красную рубаху я прилежно расшиваю васильками, а один из них дарю тебе на молитвенную память о нас с Владиком. Твоя любящая, р.б.. Татьяна».

Ну конечно, у старинной сказки должен быть определенный конец и желательно хороший, иначе что же это за сказка, правда?

Данилкины жемчужинки

Сон маленького мальчика

У пятилетнего Данилки случилась самая большая беда, какая только может случиться мальчика или девочки, — у него умерла мама. Болела, болела и умерла. Сначала Данилка ходил как пришибленный: он как-то понять не мог, что же такое случилось с его мамочкой, почему ее больше нет ни дома, ни в больнице, ни на улице возле дома? Он все вглядывался и прислушивался, и никак не мог поверить в то, что это его настоящая мама лежала в том длинном коричневом ящике с оборочками, который чужие дяденьки накрыли крышкой, заколотили гвоздями, а потом зарыли в землю. Он чувствовал, что это не так, что это неправда, но спорить со взрослыми он не умел и не хотел — не до того было Данилке. Он просто сидел часами на одном месте и все ждал и ждал, что его позовут и повезут к маме в больницу. Или она сама появится, подойдет к нему, сядет рядом, обнимет его и скажет:

— Данилка, это же неправда! Я не умерла!

Но мама все не приходила и не приходила.

Иногда он начинал плакать, но тут кто-нибудь из взрослых, даже папа, говорил ему:

— Не плачь, Данила, будь мужчиной! Слезами горю не поможешь!

Данилка и сам изо всех сил крепился и не плакал. А для этого лучше всего было сидеть на одном месте, смотреть в одну точку и стараться ни о чем не вспоминать и даже ни о чем не думать. А это было неправильно! Но некому было объяснить бедному Данилке, что он делает не так и почему это неправильно.

И вот тогда, видя эту беду, решил Данилкин Ангел Хранитель, что пора ему вмешаться. Взял он и приснился как-то ночью Данилке. Встал перед ним — лицо светлое, крылья белые, стихарь — это форма такая ангельская — переливается всеми цветами радуги.

— Здравствуй, Даниил! — говорит во сне Ангел Хранитель Данилке. «Даниил» — это было Данилкино полное имя, данное ему при Крещении.

Здравствуйте, — отвечает, тоже во сне и вежливо, как его мама с папой учили, Данилка. — А вы кто?

— Я твой Ангел Хранитель. Пришел говорить с тобой.

Данилка в ответ промолчал — он не знал о чем можно с Ангелами разговаривать.

— Слышал я, Данилка, что тебе взрослые советуют о маме твоей не плакать.

— Они... Они говорят, что я маму слезами огорчаю. А я вовсе не хочу ее огорчать! Только это очень трудно и вот тут, — он погладил себя по груди, — очень больно — не плакать, когда хочется, — ответил честно Данилка, и слезы тут же подступили у него к глазам и к горлу, да так близко, что он и во сне чуть не заплакал в голос. Но сдержался — как обычно старался сдерживаться. И ему опять стало больно в груди и в горле.

— А как ты думаешь, Данилка ты мой, для чего даны человеку слезы? — спросил Ангел.

— Не знаю... Раньше я думал, что это для того, чтобы показать, что тебя пора пожалеть.

— Правильно ты думал, Даниил. Когда один человек, особенно маленький, плачет, а другой, тем более взрослый, его жалеет — сразу половина боли проходит. Так?

— Так. Я когда совсем маленький был, никогда не плакал сразу, чтобы слезы зря не тратить. Я сначала бежал к маме, добежал до нее и тогда уже начинал плакать. Мама брала меня на руки, жалела, дула на коленку — разбитая коленка сразу переставала болеть.

— Вот видишь, получается, что слезы вызывают жалость и сочувствие — и этим снимают боль. Как будто смывают ее. Так вот и в горе, Даниил. Слезы тебе для того и даны, чтобы без всяких слов сказать другим людям: помогите мне! Чтобы близкие помогли тебе своим сочувствием. Когда горе настоящее, слез не надо стыдиться. Ты меня понимаешь?

— Не очень, — честно ответил Данилка.

— Ну хорошо. Тогда я тебе просто покажу, что такое твои слезы о маме. Давай мы вот что сделаем, Данилка, — мы с тобой поплачем о твоей мамочке вместе! Вставай с постели!

Данилка послушно встал.

— Хорошо, что у тебя в комнате висит икона Божьей Матери, нам далеко идти не надо! — одобрительно сказал Ангел. — Становись рядом и давай плакать вместе. Ну, плачь, не бойся и не стесняйся! — и Ангел обнял Данилку за плечи и прижал к себе. И, конечно, Данилка сразу же заревел, а слезы побежали у него по щекам и закапали... Но не на пол они закапали, а прямо в подставленную ладонь Ангела.

Данилка плакал и приговаривал:

— Мамочка моя! Ты куда ушла? Мне без тебя так плохо-плохо, мамочка!

И хотя он жаловался и говорил о том, как ему плохо, на самом деле ему становилось все легче и легче! То ли потому, что уж очень много невыплаканных слез у него внутри накопилось, то ли потому, что Ангел его так ласково гладил по плечам. Он плакал и плакал... А потом стал переставать, потому что слезы у него как-то кончились, и он уже только всхлипывал да вздыхал.

И тут Ангел протянул ему ладонь и показал в ней горсть маленьких светлых жемчужинок.

— Знаешь, Даниил, что это?

— Нет.

— Это твои слезы о маме — святые и невинные детские слезы. Вот они и превратились в драгоценный жемчуг. Видишь, какое чудо?

Данилка кивнул и осторожно, одним пальчиком, потрогал удивительные жемчужинки.

— Но это еще не все, Данилка! — сказал Ангел. — Теперь давай мы с тобой помолимся о твоей маме Господу. Видишь, вот Он на иконе сидит на коленях у Своей Мамы — у Божьей Матери. Повторяй за мной: «Упокой, Господи, в светлом Твоем Раю мою мамочку. Даруй ей прощение и утешение! А мои слезы прими, Господи, как молитвы о ней!» Данилка старательно и доверчиво повторял слово за словом все, что сказал ему Ангел. А пока они молились, Ангел откуда-то взял серебряную нить и стал нанизывать на нее одну слезную жемчужинку за другой. И получались бусы! И когда они кончили молиться, Ангел связал концы серебряной нитки и сказал:

— Ты, Даниил, будешь плакать о своей маме, а я стану собирать жемчужинки и нанизывать их на нить твоей молитвы. Представляешь, какое замечательное ожерелье для мамы у нас получится?

Данилка поднял глаза на Ангела. Ангел правильно понял его удивленный взгляд.

— «Ожерелье», Даниил, — это так по-старинному называются бусы.

Данилка кивнул.

— А знаешь, что мы сделаем с этим ожерельем, когда ты выплачешь все свои слезы и они превратятся в жемчуг?

— Ты отнесешь эти бусы моей маме?

Да. Я скажу, что ты плакал о ней, пока были слезы и хотелось плакать. К тому времени ты перестанешь плакать. Но перестанешь не потому, что будешь по-глупому крепиться изо всех сил, а потому что выплачешь слеза ми самое горькое свое горе. И останется только любовь к маме, светлая печаль о ней и молитва. А мама твоя в Раю будет носить драгоценное ожерелье из твоих жемчужинок и тоже помнить о тебе и молиться. И вот когда она будет проходить райскими садами а Пресвятая Богородица увидит ее, Она скажет святым девам, сопровождающим Ее: «Вот идет счастливая мама! Видите, какое на ней чудное жемчужное ожерелье? Это значит, что ее дитя плакало о ней святыми слезами, соединяя их с молитвой к Моему Сыну. Слезы превратились в жемчуг, молитвы — в серебряную нить, вот и получилось такое дивное украшение, подарок от любящего сына». — Ангел погладил Данилку по голове и спросил: — Ты все понял, Данилка?

— Я понял, — сказал Данилка. — Про слезы понял и про бусы для мамы. Так получается, что я правильно думал и мама моя не умерла?

— Нет, не умерла. Это тело ее спит там, в могилке под цветами. А сама она жива.

— Она у Бога?

— Ну, конечно!

— Я так и знал! — сказал Данилка и улыбнулся, и при этом еще две невыплаканные самые маленькие слезинки выкатились с его глаз, прокатились по щекам и упали на пол. Но Ангел наклонился и подобрал две последние жемчужинки. После этого он подвел Данилку к кровати, уложил его, подоткнул со всех сторон одеяло, поцеловал его в макушку, перекрестил и улетел. А Данилка уснул.

Проснулся он рано-рано, когда в доме все еще спали. Оделся, умылся, подошел к иконам, вздохнул... и заплакал. Поплакал-поплакал, а потом вспомнил, что без молитвы из одних только слез красивые бусы для мамы не получатся, и стал прилежно молиться.

Дура в янтаре

Рассказ разведенной женщины

Говорят, янтарь обладает целебными свойствами. Не знаю про янтарь вообще, а вот про одно янтарное украшение, несомненно обладающее целебными свойствами, могу рассказать.

Начну по порядку. Муж меня бросил. После двадцати шести лет супружества вдруг заметил, что и сам старится, и жена стареет — и разом решил проблему! На суде он объяснял свое решение тем, что детей у нас нет, а ему очень хочется их иметь. Наверное, потому и замену мне подобрал лет этак семнадцати с виду — добрые люди видели и мне доложили. В прежние времена, говорят, развод иногда годами тянулся. Наверное, это было и правильно, особенно для мужичков, вступивших в «опасный» возраст: пока суд да дело, блудный муж успеет перебеситься, опомнится и вернется в семью — если его там еще ждут — а в наше время не так: я и оглянуться не успела, как оказалась разведенной и выселенной из поделенной мужем трехкомнатной квартиры в однокомнатную. Правда, расположенную в центре, как и прежняя квартира, — ну и на том спасибо.

Осталась я одна. И пошла страдать-переживать, на все стенки по очереди лезть! То лежу, сама себя корвалолом отпаиваю, то по знакомым и родственникам бегаю, жалуюсь всем на то, как мой Гришка вероломно и подло со мной поступил. Во всех подробностях описываю не только как он меня обманывал, как разводился, но и как я все его подлые поступки переживаю. И вывод делаю: разумная жизнь кончилась, не знаю, как жить дальше — или я с ума сойду, или с собой покончу. Подруги, и даже мужья их, представьте, все меня утешают! А мне почему-то легче не становится...

И тут приезжает моя подруга Маринка из Севастополя. И не просто в гости или по делам, а именно ко мне — поддержать в горе. Ну, я ее встречаю на вокзале, везу домой, за стол сажаю, чай наливаю и начинаю выкладывать все подряд с самого начала. Маринка слушает, ахает, головой качает. А потом вдруг спрашивает:

— Так как я понимаю, Гриша твой оказался обманщик?

— Еще какой обманщик-то!

— И негодай?

— И негодай.

— И распутник? — Она похлеще выразилась

— Угу...

— Так козел, выходит, Гриша твой оказался?

— Козел!

— А раньше не был козлом?

— Не был. Говорят, это у мужчин возрастное. Критический возраст, мужской климакс.

— Понятно. Был мужик как мужик, а подошел критический возраст — бац! — и уже не мужик, а козел. — Маринка на меня вдруг уставилась и стала внимательно разглядывать.

— Ты чего это на меня так смотришь? Страшная я стала с горя, да?

— Да нет! Запустила ты себя, конечно, будь здоров, ну да это поправимо. Я другое понять пытаюсь: если муж твой бывший мелким рогатым скотом стал, так с чего же ты так по нему убиваешься? Козел ушел, и в доме не воняет. Ты же радоваться должна!

Я поглядела на Маринку, Маринка — на меня, и вдруг принялись мы обе хохотать.

— Ну вот, ты уже радуешься, и правильно делаешь! — сказала Маринка, утирая слезы, выступившие от смеха.

Поуспокоившись, я постаралась скоренько вызвать в себе привычное настроение безысходной тоски: с чего бы мне вдруг веселиться-то?

— Оставь свои глупые шутки, Марина, мне не до смеха, — сказала я скорбно, беспощадно давя в себе остатки смеха.

— Понимаю. Чувство юмора с горя тормозит. А если ты пока еще временами смеешься над собой — так это нервный смех.

Я опять чуть не рассмеялась, но сдержалась и сказала обиженно:

— Это ты меня рассмешила своими шуточками. Не понимаешь ты меня по-настоящему, Маринка, вот и смеешься. А я жить не хочу, у меня душа умерла!

— Душа у нас, душенька-подруженька, не к смерти, а к бессмертию предназначена, и, чтобы ее убить, одного блудливого мужа маловато. А что жить ты не хочешь, так это вранье. Ты прекрасно живешь, и более того, тебя такая жизнь вполне устраивает.

— Я — прекрасно живу?! Да ты с ума сошла!

— Нет, это ты слегка того, если до сих пор не поняла, что с тобой происходит.

— Чего тут не понимать? После двадцати шести лет брака мой муж... дело вовсе не в нем, а в том, как ты переживаешь свое горе. С тобой случилась настоящая большая беда, спору нет, это так. И только психически ненормальная женщина может не ощущать горя в такой ситуации, если она хоть чуточку любила своего мужа. Но горе, раз уж оно свалилось на тебя, следует принять как болезнь: пережить его, понять о своих промахах подумать, сделать выводы на будущее, а потом вылечиться и жить дальше. А ты переживаешь неправильно, нездорово: горе твое сидит в тебе, как муха в капле меда, и блаженствует. Устроилось оно посреди твоей жизни, и упивается, и облизывается, и собой любит! И других приглашает полюбоваться и

посочувствовать.

— У меня душа болит, Маринка! Как ты не понимаешь?

— Ну, положим не вся душа, а только малая ее часть! Причем самая дурная часть — безвольное себялюбие и саможаление. Да в каждой из нас сидит такая дура, этакая психо-муха, и ей только дай волю, она тут же найдет свою каплю меда, заберется в нее и станет наслаждаться горем. Пока не погубит хозяина и сама не сдохнет — она же дура!

— Кто дура?

— Да вот эта самая психо-муха.

— Жуть какая-то...

— Жуть. А знаешь, как от этой психо-мухи избавиться?

— Как?

— Запретить ей жужжать. Ты ведь не станешь спорить, что больному о своей болезни лучше всего говорить со специалистом, с врачом, а не со всеми знакомыми подряд. Знакомые и друзья, конечно, будут и советы давать больному, и утешать его. Только вот советы могут оказаться совсем не полезными, а очень даже вредными, и утешения только подогревают желание рассказывать о своей болезни со все большими подробностями. Говорить о болезни полезно только с врачом, ну да еще иногда с теми, кто такую же болезнь пережил и вылечился. Вот ты попробуй для начала запретить себе разговаривать о своем разводе с посторонними. Сумеешь справиться с собой — наполовину победила.

— Почему — наполовину?

— Потому что вторая половина задачи сложнее — запретить и себе самой думать на эту тему, прекратить вести мысленные диалоги с бывшим мужем.

— Откуда ты знаешь про мысленные диалоги?

— А то я не женщина! По жизни знаю. Думаешь, ко мне в душу такая психо-муха не залетала? Залетала... Вот смотри-ка, что я тебе привезла, какой подарок! — Маринка открыла сумочку и достала из нее бархатную коробочку. — Мне она больше не нужна а тебе — пригодится. Держи!

Я взяла коробочку и раскрыла: в ней лежала большая капля янтаря на серебряной цепочке. Внутри этой капли что-то чернело. Я поднесла украшение к свету и увидела в янтаре небольшую мушку.

— Это что — символ? Маринка кивнула:

— Муха в меду... Она думала, что попала в мед, а мед-то оказался смолой... Так и наша психо-муха: сидит в сладкой смоле своего горя, жужжит и упивается, а потом глядь — увязла всеми лапками, да так, что уже и спасения нет. Я долго носила эту «дуру в янтаре», пока не научилась справляться с любым горем, не увязая в нем всеми лапками. А теперь ты поноси, авось и тебе поможет.

— Спасибо. Попробую поносить... Чтобы самой не стать дурой в янтаре!

— Бог в помощь!

Черный резиновый коридор, идущий по кругу

Рассказ бывшей медсестры

Здравствуйте, Ольга Петровна, а я к вам с большой просьбой! Спасибо, я так и знала, что вы мне не откажете. А просьба у меня вот такая — за нашей соседкой Кариной с одиннадцатого этажа присмотреть. Ну да, конечно, она не ребенок, а только и взрослой ее не назовешь, как и всякого непросвещенного человека. Да нет, я не про образование говорю, с этим у нее как раз все в порядке — два их у нее! Но неверующая она была до недавнего времени, а отсюда и все ее беды произошли. Какие беды, спрашиваете? Ну, я от вас никогда ни полслова про соседей не слышала, а потому могу вам спокойно это дело доверить, по секрету, конечно. Она ведь, Кариночка-то наша, думала с собой покончить. Ну как это «отчего»? Отчего все женщины с ума сходят, оттого и она — от любви, само собой! То есть это так молодые говорят — «От любви», а поживешь с мое, так и узнаешь, что от любви рождаются только мальчики да девочки, а уж никак не сумасшествие с самоубийством. А где самоубийство, там страсти да бесы, а не любовь. Нет-нет, не пыталась она покончить с собой, слава Богу, до этого не дошло. И в дурдом не попала, что тоже неплохо. Но только я лучше вам все по порядку расскажу, раз уж я Карину на вас оставляю.

Дело было ранней весной. Решила я съездить на недельку-другую в Подмоскovie, к моим хорошим друзьям, пожить у них на природе, подышать чистым свежим воздухом на тающем снегу. Замечали, какой воздух стоит над тающими снегами за городом? Вот-вот, именно за городом. Не надышишься! Ну и по обычаю поднялась я на одиннадцатый этаж к Карине — отдать ключ от квартиры и от почтового ящика, чтобы она почту вынимала и за квартирой присматривала, мало ли что. Поднялась, позвонила. Долго она мне не открывала, я уж возвращаться хотела да к вам идти, но тут дверь отворилась — и я так и ахнула! Обычно аккуратненькая, как перепелочка, всегда нарядная Карина появилась синем шелковом китайском халате своем, вы его на ней видели не раз, только халат ну весь мятый и в пятнах каких-то, а сама-то, сама-то! Нечесаная, неумытая, лицо опухшее, глаза красные.

— Что с тобой, Кариночка? Заболела?

— Хуже. — Хуже — это, значит, умерла или в похмелье. Ты живехонькая, так выходит — похмелье?

— Можно и так сказать. Похмелье от любви.

— А что ж это от тебя не любовью пахнет, то есть духами, цветами и шампанским, а водочным перегаром несет, как из пивного подвальчика на углу?

— Да нет, тетя Нина, я водку пока не пью, вы же знаете, — вино это.

— Ну надо же! Никогда бы не поверила, что от вина может так вонять на другой день, ты уж прости меня, дорогая моя.

— Да это не другой день, тетя Нина, я уж две недели пью...

— Вот как... Пройти-то можно? Я по делу к тебе.

— Проходите, конечно...

Вошли мы в квартиру, а там — полный разгром и мерзость запустения. Единственное чистое место — компьютерный ее столик.

Кариночка, вы ведь знаете, работает больше дома, за компьютером, как все они, переводчики. Так вот там порядок какой-то наблюдается, а вокруг — ну чисто Мамай ночевал! Постель на раскладном ее диванчике не убрана, и видно, давно не убиралась, да и белье не менялось. На обеденном столе бутылки стоят бокалы, чашки чайные, пачки сигаретные валяются, какие-то огрызки по тарелкам...

— Садитесь, тетя Нина, — говорит мне Кариночка и убирает со стула какую-то одежду.

— Сяду. И ты садись да рассказывай, что у тебя стряслось. Только сначала, будь добра, накинь на себя что-нибудь теплое — надо тут проветрить, дышать нечем.

Послушалась она, накинула на спину свитер, завязала рукава на груди, а я пошла и балконную дверь настежь отворила. На балконе у нее тот же бедлам творится: по полу какие-то вещи, мусор валяется, а возле перил в роскошном таком синем горшке стоит высохшая елка, с Нового года, видать, осталась.

Села Кариночка к столу и начала трясущимися руками пачки сигаретные перебирать, а они у нее все разные! Ну, я вижу, что ей и рассказать мне все хочется, и как приступить к делу не знает. Решила ей помочь, сама разговор начала.

— А что это у тебя все сигареты разные? Хотя погоди, я сама эту загадку разгадаю. Так ты у нас толком курить не умеешь, а сейчас тебе приспичило, по твоему погромному душевному состоянию, курением нервы успокаивать. Да вот не приносит тебе сигаретный дым никакого нервного успокоения, одна только тошнота да горло дерет с непривычки: вот ты и пробуешь разные сорта сигарет, ищешь подходящие, не очень противные. Так?

— Та-а-ак! — говорит Кариночка и удивленно на меня опухшими глазами хлопает.

— Ну, так я тебе заранее сразу скажу: ни вино, ни сигареты тебе никакого облегчения не принесут, ты и не надейся. — Я оглядела комнату и в корзинке для бумаг увидела пустые вскрытые пачки от таблеток с надписью «Крепкий сон». — И снотворное тоже тебе не поможет. Не только это — травяное, безвредное, но даже и то, что только по рецептам в аптеках дают. Ты уж не травись ли валерианкой с хмелем и страстоцветом пробовала?

— Какой такой страстоцвет? — спрашивает Карина, на прямой вопрос не отвечая.

— А вот «пассифлора» на пачке написано. Сколько пачек выпотрошила и выпила, признавайся?

— Десять...

— Ну и какой результат?

— Сутки проспала и встала с дурной головой.

— Зрение не отказывало? Не рвало тебя?

— Нет.

— Легко отделалась. Ведь и аспирином можно отравиться, если много выпить. И больше ты о

смерти не думала, надеюсь?

— Думала. И сейчас думаю, днем и ночи напролет. Я и пью, чтобы не думать, а не получается. Хочу умереть, тетя Нина! У меня только один этот выход и остался — умереть. Вы ведь медсестрой в больнице работали, видали, наверное, самоубийц?

— Ох, видала! А еще больше я их видала в морге, не к ночи будь помянут.

— Вот и подсказали бы мне, как мне из жизни уйти, чтобы и не страшно, и не больно, и после смерти никакого безобразия.

— Ну, матушка моя, такая смерть — самоубийство, или по-медицински «суицид», она всегда безобразна, хуже не бывает. А уж чтоб не страшно, об этом и говорить нечего, тут одна подготовка чего стоит — с ума сойти можно.

— Но если жизнь в муку превратилась, должен же быть из нее какой-то выход?

— Ничего себе выход! Ну ладно, о смерти мы потом поговорим, а сейчас рассказывай по порядку, что у тебя стряслось-то?

Она мне и рассказала. Да вы человек в годах, сами знаете: это только им, молодым, кажется, что у них одних небывалая история несчастной любви. А мы-то знаем, что это только счастливые романы все разные, а несчастные — они все на пять сюжетов, как сериалы телевизионные.

Как не знаете? Да что вы, милая моя? Ну, слушайте тогда. Сюжет самый простой, блудный: полюбил — пришел, разлюбил — ушел. Сюжет прелюбодейный, тоже не очень чтобы редкий: либо он женат, либо она замужем, а то и оба находятся в супружестве, а потому себя и других зазря мучают. Особенно детей. Сюжет третий: любовь неразделенная! Тут уж все зависит от переживателя: бывает неразделенная любовь буйная, бывает тихая, бывает террористическая, а бывает и скромная — последняя всего безопасней и приличней. Сюжет четвертый: оба любят, но имейся преграда; это сюжет временный: либо преграда рушится, либо любовь. Пятый сюжет: любовь паразитическая, самая опасная из всех, потому как выглядеть может на все четыре предыдущие сюжета. Может, есть и шестой сюжетик, только я пока о таком не слыхала и по телевизору тоже не видала. Ну, так вот, у Кариночки был, как я и предвидела, сюжет номер раз — любовь самая из всех скоротечная, а попросту говоря, блудная. Увидели друг дружку, загорелись и немедленно, не откладывая, любви предались. У нее, как водится, в голове крутится: вот сейчас мы просто любим друг друга, а потом наверняка поженимся, а у него — другое: полюбим сколько любитесь, а после разойдемся. Даже когда мысли эти и не в головах, а только в сердце или ниже, они все равно именно такие и есть. Год назад они познакомились, через месяц он пришел к Карине и поселился у нее, а месяц назад выехал со всеми своими пожитками в неизвестном направлении. Если бы в известном, то и конец был бы другой... Ну как это — «какой»? Она бы не о самоубийстве думала, а о том, как вернуть сбежавшего возлюбленного, терроризировала бы его, хотя эти «беглецы» по природе своей не имеют привычки возвращаться. Она бы изводила его и себя преследованиями и в конце концов либо утешилась, либо встретила другую любовь, либо довела себя до клиники. Ну, может, она и самоубийством ему погрозила бы — да это уже несерьезно, всякий знает: расчет-то не на гибель, а на то, чтобы бывшего любовника взять на испуг или на жалость. Иногда, правда, такие попытки тоже гибелью кончаются — заигрываются бедняжки. Это как на сцене или в кино: представляя сердечный приступ, можно и впрямь доиграться до инфаркта. Нет, у Карины все задумывалось в серьезном и полном одиночестве. Попробовав снотворное, она начала подумывать о балконе.

— Как вы думаете, тетя Нина, если с балкона кинуться — так уж верная смерть? Одиннадцатый этаж...

— Смерть-то верная ли? Ну, это да. Разобьешься вдребезги, сама в клочки и мозги по асфальту! Только вот толку никакого — от беды-то своей ты все равно не уйдешь, не избавишься.

— Как это не избавлюсь, если мозги в клочки?

— А у тебя разве мозги болят, а не душа?

— Душа, тетя Ниночка, душа болит невыносимо!

— Так уж и невыносимо! Поболит-поболит и успокоится: все проходит, Кариночка, детка моя, время все лечит. А времени у нас — и на земле вся жизнь, и после целая вечность! Душа-то у тебя вечная. Да ведь и земная жизнь у нас длинная и уж такая непостоянная: сегодня дождь-гроза, а завтра — солнышко вышло из-за туч, и опять все хорошо!

— Мне уже никогда больше не будет хорошо,

— Ну да, если с собой покончишь, так уж хорошего ждать нечего. Ты думаешь, убьешь себя — и сразу все твои беды куда-то денутся?

— Ну да. Я ведь перестану чувствовать эту невыносимую боль.

— Да как бы не так! И боль твоя, и тоска невыносимая — все с тобой так и останется. Только если при жизни все может перемениться к лучшему, то после смерти уж фигушки!

— Это как же так, тетя Нин?

— А вот так. С чем помирать станешь, с тем и останешься на всю свою вечность. Вроде как приморозишь к себе свою беду или сама в ней зацементируешься. Знаешь ли ты, девонька, что спасенные самоубийцы рассказывают о том, что с ними было, пока врачи их к жизни возвращали?

— Нет. Расскажите.

Я ей и рассказала несколько историй о том, какой ужас переживали самоубийцы в момент между смертью и жизнью, а потом другим больным, ну и нам, персоналу, рассказывали. Врагу не пожелаешь! Нет, вам я рассказывать не стану — ни к чему здоровому человеку такое и знать. А вот вы послушайте лучше, что после моих рассказов с самой Кариночкой было!

В тот вечер я ей оставила ключи, перекрестила ее на ночь и ушла. А у себя дома, само собой, встала на молитву и принялась просить у Господа помощи и вразумления для бедной девочки. И что вы думаете? Послал-таки ей Господь вразумление! Какое? А вот послушайте.

На другой день с утра пошла в наш универсам прикупить кое-чего в дорогу. На всякий случай: я еще не решила тогда, ехать мне в деревню или остаться с Кариной. Иду я из универсама обратно по дорожке между домами и вдруг вижу издали, как что-то синее, блестящее летит с балкона одиннадцатого этажа, — с Кариночкиного балкона! — и об асфальт — бух! Мне так в голову и шарахнуло: халат это Кариночкин, синий, шелковый! Бросила я свои сумки прямо на дорожку и бежать к ней! Подбегаю — и ноги у меня так и обмякли. Опустилась я прямо на асфальт и гляжу, как в голову ушибленная, на осколки синего горшка, что стоял на балконе у Карины. И елка сухая рядом валяется, и земля рассыпалась... Ну хоть плачь, хоть смейся!

Подняла я голову поглядела вверх — а там Карина стоит в синем своем блестящем халате и, кажется, на меня смотрит. Я тут поднялась, побрела назад, сумки свои подхватила — и к дому, в лифт, на одиннадцатый этаж! А Карина уж догадалась что я к ней пожалуйю — стоит в дверях, меня ждет. Оказывается, не остались мои молитвы о ней безответными — сон ей приснился да какой! Ну, конечно, так и расскажу, как она мне рассказала, прямо ее словами.

«Я долго вчера ваши слова вспоминала, тетя Нина, а вечером легла и как-то сразу уснула, даже снотворное не понадобилось. И вдруг среди ночи я проснулась, будто меня кто-то окликнул, и чувствую, что все уже позади — покончила я с собой, бросилась с балкона. Лежу в полной тьме и ничего вокруг не вижу. А в душе у меня такая боль, такая боль, тетя Ниночка, до какой наяву и не доходило ни разу! И понимаю я, что в тот момент, когда я с балкона бросилась, все мои переживания вдруг обострились с неимоверной силой — и обида, и безнадежность, и отчаянье, и невозможность все это больше терпеть, — все они стали в миллион раз острее и все раздирают мне душу. Поняла я, что надо что-то делать, невозможно терпеть такую муку! Подняла я руки и стала ощупывать темноту — а надо мной — низкий потолок какой-то, упругий, будто резиновый. Протянула руки в стороны — и там что-то такое же упругое, вроде как стены. Я попробовала подняться на ноги, но потолок не пускает. Села, ощупала все еще раз. Вокруг меня эти упругие стены, а впереди и позади — пустота. Такое ощущение, будто я внутри огромной резиновой камеры или какой-то чудовищной змеи, потому что стены эти ритмично пульсируют и подталкивают меня в одну сторону. Ну, я и поползла на четвереньках туда, куда они меня толкают: может, думаю, куда-нибудь доползу, в какое-то другое место, и мне там легче станет? Ползу, ползу, а тоска и боль душевная легче не становятся. Подвываю от боли и все-таки ползу вперед — вдруг там выход? Не знаю, сколько я так ползла внутри этого резинового коридора, но вдруг впереди показалась какая-то светлая точка. Я не обрадовалась, потому что никакой радости у меня в душе не было ни капли, но какая-то надежда на перемену вдруг у меня появилась. Я быстрее поползла. А свет становится все яснее и ярче, и вот уже вижу я перед собой какой-то светлый прямоугольник, похожий на дверь, а стены вокруг меня расширяются, и вот я уже могу встать и уже бегу вперед, все по этой же резине. А бежать трудно, ноги будто проваливаются... И знаете, тетя Нина что там впереди было? Моя балконная дверь! И тупик — больше ни бежать, ни ползти некуда. Открываю я дверь и вижу свой балкон, и синий горшок с сухой елкой возле ограды балкона стоит. И вдруг моя душевная боль еще усиливается, хотя казалось, что больше-то уже и некуда ей было расти. И тут я, уже не понимая, что делаю, бегу к перилам, встаю на край горшка — и даже чувствую, как, царапая мои ноги, осыпаются сухие иголки, — и бросаюсь вниз! А потом — темнота... И вдруг я снова прихожу в себя и сразу понимаю, где я — все в том же черном резиновом коридоре, идущем по кругу. Только боль моя еще сильнее стала. Тут я решила, что мне надо ползти — да и стенки меня мягко так подталкивают, и откуда-то я знаю, что если я не доползу вперед, то они сожмутся и сами станут меня проталкивать, как пищевод проталкивает проглоченный кусок пищи. Проползла я какое-то расстояние и снова увидела впереди свет, а потом поднялась на ноги и побрела, опираясь на резиновые стены, к своему балкону. Сяду на нем, думаю, и буду сидеть и терпеть, пока что-нибудь не изменится, а вниз кидаться ни за что не стану. Ага, как бы не так! Только я выползла на балкон, как боль моя душевная еще на градус невыносимей стала, и какая-то сила толкает меня к перилам и шепчет: «Бросайся вниз, покончи с этой болью!» Я уже понимаю, что, сколько бы я ни кидалась вниз, все равно после падения окажусь все в том же резиновом коридоре и все начнется сначала. Я обняла ногами горшок, ухватила руками за сухую елку — держусь изо всех сил! Но тут моя боль стала нестерпимой, а голос тот, что меня к перилам толкал, прямо загрохотал у меня в голове: «Бросайся вниз! Скорей, скорей!» — и я снова встала на край горшка — и бросилась!

Тетя Нина, так было еще много раз, я уже не сосчитаю сколько. И поняла, что это движение по круглому черному резиновому коридору с балконом в конце будет продолжаться бесконечно, а

моя душевная боль, моя мука будет с каждым разом все усиливаться... Тут я вдруг заголосила: «Господи, прости! Господи, спаси!» — и тут же проснулась. Ну а дальше вы знаете: встала я, выбежала на балкон и сдуру, откуда только силы взялись, подняла горшок с сухой елкой и выбросила его с балкона! Чтобы мне про дурь мою не напоминал, чтобы мне встать не на что было, если вдруг... Тем более что елку в горшке мне на Новый год подарил мой сбежавший возлюбленный».

Вот что мне Кариночка рассказала. Ну, оделась она, спустились мы с нею вниз и убрали все следы: землю по снегу раскидали, елку в мусорку выбросили, а синие осколки аккуратно собрали и выложили вокруг куста белой сирени. На всякий случай. Если что — Кариночка сверху, с одиннадцатого этажа, посмотрит вниз, увидит синий круг на земле и опомнится.

В общем, не поехала я в тот раз за город, осталась с Кариной. А она стала меня слушаться, в церковь со мной начала похаживать, на Пасху поговела и причастилась... Так у нас больше двух месяцев прошло. И вот решила я, что теперь уж можно и мне к друзьям моим в деревню ехать... Угадали вы, вместо себя хочу вас оставить. Так, на всякий случай. Ключи свои я Карине оставила, а вы хотя бы два раза в недельку заходите к ней за ними: цветы, мол, у тети Нины полить надо... И если заметите что-то неладное, то сразу мне телеграмму шлите. Я вот вам адресок и деньги оставляю. Думаю, что все с нею теперь в порядке будет, после такого-то вразумления, но на всякий случай... Так присмотрите за нею? Ну, вот и хорошо.

Шнурочки бантиком

Рассказ бывшей актрисы

Это случилось лет десять тому назад, когда я еще работала в театре, но уже успела в какой-то степени воцерковиться: молилась дома перед иконами, более-менее регулярно ходила в храм, причащалась, имела замечательного духовника, ездила в паломничества и, как почти все новонаначальные, читала много православной литературы. Мои подружки-актрисы весьма преувеличивали степень моей воцерковленности; они совершенно серьезно между собой называли меня «высокодуховным человеком» и донимали меня вопросами на церковные темы. У всех почему-то при встрече со мной немедленно находились разного рода «духовные вопросы», а также собственные мысли по поводу Писания или порядков в РПЦ. Ну вы же понимаете — актеры! Вся жизнь — театр! Но вот моя подруга Ирина обратилась ко мне и вправду с серьезным вопросом, и я су мела ей дать правильный ответ. Не иначе Ангел мой подсказал.

В семье Ирины случилась драма. Ее сын тоже актер, как-то неожиданно и вдруг женился на совсем молоденькой девушке из провинции, студентке театрального института, прехорошенькой и, кажется, талантливой. Ирина невестку приняла с радостью — семейная актерская традиция продолжается! — и даже настояла на том, чтобы молодые жили вместе с нею. Сама она уже давно жила одна после трех или четырех разводов и больше замуж не выходила. Вот она и радовалась, что у нее снова будет семья, появятся внуки... Однако брак оказался не только скоропалительным, но и скоротечным — уже через полгода молодой супруг подал на развод. Ирина, надо отдать ей должное, поступила весьма благородно и нестандартно, о чем, разумеется, было много разговоров в театре: она предложила сыну снять жилье на стороне, а невестке — жить у нее до окончания института. И невестка осталась со свекровью, может быть, надеясь таким образом сохранить шанс на примирение с беглым мужем, уж не знаю — и вдруг прошел слух, что Альбина, так звали невестку Ирины, пыталась покончить с собой выпив громадную дозу какого-то сильного снотворного. Ее откачали, свезли на скорой в дежурную больницу, а оттуда переправили в психушку. Ирина еле-еле ее оттуда выцарапала и

сумела сделать так, что в институте об этом ничего не узнали: у студентов были летние каникулы. А через два месяца ее вытащили из холодного и вонючего Екатерининского канала. На этот раз она попала в милицию и оттуда сама позвонила Ирине. Свекровь приехала за ней, привезла для нее сухую одежду и свои фотографии, которые тут же, якобы в благодарность за спасение невестки, надела всем милиционерам — и увезла Альбину домой без всяких последствий. С этого момента Ирина стала таскать ее к психоаналитикам, брала консультации у какой-то знаменитости от психиатрии, нашла даже экстрасенса, который должен был уберечь невестку от новых попыток самоубийства оккультным путем... И вот именно после оккультиста случайно обнаружила, что запястья у Альбины забинтованы — еще одна неудавшаяся попытка. Тут-то Ирина мне и позвонила.

— Слушай, Надежда, что же делать? Не хочется девочку сдавать в дурдом, но ведь и выхода нет! Я боюсь, что не сумею за ней уследить...

— А как твой сын на все это реагирует?

— А он так перепугался, бедный, когда Алька снотворных наглоталась, что уволился из театра, удрал в Североморск и там устроился в местный театр. Думаю, потому что это закрытая зона и Алька туда не проберется. Какие же трусы все мужики, однако, и даже мой собственный сын!

— Скажи, а он присутствовал при том, как ее откачивали врачи скорой помощи?

— Конечно! Я его сразу вызвала.

— Ну и напрасно. Если мужчина не врач и он видел бывшую жену, лежащую в блевотине и со шлангом во рту, из которого рывками извергаются потоки вонючей слизи, — не жди от него ничего, кроме ужаса и отвращения.

— Ой, а ты, наверное, права! Это я не сообразила. Я думала, он пожалеет ее и раскается... Скажи, Наденька, что ж это такое происходит с Алькой и что мне дальше-то с нею делать?

— Не знаю, я ведь не специалист... А чем она объясняет свои суицидные попытки?

— Знаешь, она городит такое, что впору дне самой везти ее в психбольницу. Она на полном серьезе уверяет, будто ей СВЫШЕ велят закончить все дела на земле и переходить на другой круг бытия. Это ж надо выдумать!

— Прямо вот так?

— Вот так.

— А она прежде занималась какой-нибудь оккультизой?

— Никогда! И откуда только у нее эта терминология взялась — «иной уровень бытия»!

— Ну, может, слышала мельком, мало ли всякой муры по телеку передают. Когда услышала, то не обратила внимания, а вот теперь пришло время — оно и сработало.

— А еще она говорит, что никак не может отвязаться от обдумывания способов самоубийства: и не хочет об этом думать, а мысли идут и идут по кругу. Она говорит, это как назойливый мотивчик, который привяжется, надоест, осточертеет — а отвязаться нет никакой возможности.

Я немного подумала и сказала:

— Знаешь, Иришка, а тут ведь одна психиатрия не поможет — только вместе с Церковью! Это ведь не ее мысли.

— А чьи же? — вытаращила на меня глаза Ирина.

— Бесовские. Она хоть крещеная?

— Крещеная. У нее и крестик крестильный есть, в шкатулочке с ее финтифлюшками лежит, я видела. Ее окрестила родная бабка сразу после рождения — у них там в провинции такое практиковалось, церкви в их городке не было.

— Ну и ну... А в церковь-то она ходит?

— Да нет, она считает, что Бог у нее в душе и она, кажется, верит, что именно Он ей и советует...

— Молчи, Ирка! Даже не пересказывай этот бред! — Меня передернуло — так дико мне стало при мысли, что кто-то может приписать Господу бесовские козни. — В общем, надо твою Альку срочно знакомить с моим отцом Николаем. На ваше счастье, он часто посещает пациентов в больнице Скворцова-Степанова в Удельной. Там, кстати, есть и церковь, прямо на территории больницы, храм Святого целителя Пантелеимона.

— Так ты считаешь, что ее все-таки надо врачам сдавать?

— Похоже, что так... Но давай сначала посоветуемся с отцом Николаем.

* * *

Отец Николай от знакомства с Альбиной не отказался; более того, он сам несколько раз приезжал в гости к Ирине и беседовал с ними обеими, и с Алькой наедине. А потом он восполнил ее «бабкино крещение» в своем храме. Я и Ирина присутствовали при этом. Мы и привезли Альбину, потому что в тот день ее с утра начало крутить: то она твердила, что таким грешным, как она, на порог храма нельзя ступать, то кричала, что не доверяет православным мракобесам, а хочет стать протестанткой, то просто жаловалась на колики в животе и просила вызвать неотложку. Но надо знать Ирину — уж если она чего решит, то...

Я не буду останавливаться на подробностях той службы, но скажу, что страшно было уже с самого начала, когда отец Николай стал читать «запретительные молитвы». А во время чина изгнания сатаны, когда он подошел к дверям храма, приоткрыл их и велел Альбине «дунуть и плюнуть», произошло и вовсе нечто жуткое. В храме было натоплено, как раз перед тем крестили детей, и по всем законам физики при открытой двери должно было нести холодом с улицы, но произошло обратное. Мы с Иришкой стояли у самой двери, а отец Николай и Альбина напротив, и вдруг мы обе почувствовали ледяное дуновение из храма в открытую на улицу дверь — из тепла на уличный холод!

После Таинства миропомазания Алька стала такой тихой и спокойной, какой мы ее уже несколько месяцев не видели. Ирина тоже посветлела и шепнула мне, что, кажется, самое страшное уже позади.

А на завтра Альбина должна была причаститься, но этого не случилось: ночью Ирине пришлось вызвать психиатрическую скорую помощь, потому что Алька попыталась отравиться газом на

кухне, пока Ирина спала. Хорошо, что она сквозь сон почуяла запах газа: Алька заткнула ковриком щель внизу кухонной двери, а о том, что сверху и сбоку двери тоже есть щели, она не подумала. Ирина хоть и была в панике, но сообразила попросить отвезти невестку в «Скворечник» — и, как водится, известной актрисе не отказали в любезности. Зло обернулось добром: Альбина оказалась и под надзором врачей, и под опекой отца Николая, а главное — рядом с церковью. И там ей удалось, наконец, причаститься.

Лечение шло с переменным успехом, но все-таки дело двигалось к выздоровлению. Поскольку я сама ввязалась в эту историю и втянула в нее отца Николая, я часто ездила навещать Альбину. Стараниями Иришки у нее была отдельная палата, и мы пытались появляться не все вместе, а порознь, чтобы она как можно меньше оставалась одна. Альбина вообще была славной девочкой, когда на нее не находило, с нею интересно и приятно было общаться, у нее даже были уже свои любопытные мысли о театре и кино. Она была все такая же хорошенькая, и даже лучше стала страдание ее одухотворило. Но когда на нее накатывала болезнь, ее было не узнать: лицо у нее как-то разом вдруг опухало, глаза становились тупыми и тусклыми, даже голос понижался на октаву. Почему-то и волосы у нее изменялись во время приступов: длинные и тонкие, обычно они лежали легкой пушистой гривкой, но во время подступов болезни волосы за день-два осаливались, становились жирными даже на вид и сосульками свисали на лицо. В такое время палату ее запирали и за нею устанавливался жесткий контроль персонала. Выраженных суицидных попыток больше не было, но порой Алька начинала кричать незнакомым хриплым голосом и требовать, чтобы врачи дали ей спокойно уйти из жизни в соответствии с ее правами человека. Но приступы эти случались все реже и реже, и наступило время, когда Алька попросила принести ей в больницу учебники и потихоньку начала заниматься, и занималась она упорно.

* * *

Однажды рано утром, во время чтения утреннего правила, я вдруг почувствовала жуткое и тоскливое стеснение в груди, в области сердца. «Уж не инфаркт ли?» — подумала я в панике, настолько сильной была боль. Но внезапно охватившая меня тоска была сильнее боли, и мне подумалось, что где-то с кем-то случилась или вот-вот случится страшная беда. Я кое-как дочитала молитвы, перешла к «помяннику» и, когда дошла до имени Альбины, впала в какой-то ступор и минут пять не могла вспомнить ее имя. «Ей стало хуже!» — сверкнула мысль, и я стала читать молитвы о болящих. Буквы в молитвослове ни с того ни с сего начали расплываться и перескакивать одна через другую. Почему-то верхний свет стал совсем тусклым; я прервала молитву и включила настольную лампу. Кое-как я дочитала молитвы, которые были в моем молитвослове, и пошла к телефону. Хотела позвонить бабушке и посоветоваться, но его не было ни дома, ни в храме. Тогда я позвонила Ирине. Та еще спала и ответила только на пятнадцатый звонок — или около того, я не считала.

— Иришка! Давай молиться об Альке: я чувствую, что ей худо!

Ирина начала расспрашивать меня, что именно я чувствую и откуда вдруг такие мысли об Альке, которой же стало гораздо лучше! И вообще, что я морочу голову себе и другим? Я поняла, что она еще не проснулась толком, и повесила трубку. Позвонила своим друзьям из прихода и попросила их молиться за тяжело болящую рабу Божию Альбину. Эти ни о чем спрашивать не стали, только пообещали: «Будем молиться!»

После этого я открыла акафист святому целителю Пантелеймону. Я не могла мысленно сосредоточиться на словах — и тогда стала читать вслух. Техника актрисы и небольшая молитвенная моя практика помогли — молитва зазвучала. И тут вспыхнуло в лампочке, и она с треском взорвалась. Я не стала собирать осколки, зажгла все свечи, какие были у меня на

молитвенном столике, и стала читать дальше.

И вдруг рядом со мной раздалось угрожающее рычание. Я оглянулась. Живу я на первом этаже, и окно моей спальни выходит в дворовый скверик. В окно на меня смотрела оскаленная морда чудовища с горящими глазами. Я вскрикнула, перекрестилась и стала читать дальше. Страшный черный пес начал громко лаять, заглушая мой голос. «Именем Господа Иисуса Христа — замолчи!» — крикнула я по наитию. И чудовище исчезло в тот же миг, а за окном, опираясь передними лапами на карниз, стоял добродушный и воспитанный бежевый канарский дог Фафнир, пес моего соседа и приятеля, режиссера с киностудии. Фафнир был чудной собакой с умным лбом и улыбочивой пастью он **ВООБЩЕ** сроду ни на кого не лаял со злобой, разве только играючи.

— Ты что, Фафик? — крикнула я ему, постучала по стеклу и погрозила пальцем. Растерянный пес виновато склонил голову набок и соскочил с окна.

Я выпила валерианки, оделась и вышла из дома. Тут же из-за угла вылетел какой-то пустой дребезжащий автобус без номера, чуть не задел меня боком, заехав одним передним колесом на тротуар, обдал меня зловонным выхлопом и укатил.

Так, ну и куда теперь? В больницу рано, посетителей пускают гораздо позже. «В храм!» — пришла мысль, и я поехала в любимый Владимирской собор на раннюю Литургию. По дороге я позвонила Ирине и велела ей подъехать ко мне: «После службы пойдем прямо в больницу к Альке!» Ирина даже не пыталась спорить, пообещала явиться и отыскать меня в храме.

Часа через три мы были в «Скворечнике». Через заснеженный сад быстрым шагом дошли до Алькиного корпуса, договорились с дежурной сестрой на посту, проскочили кондор, по которому тенями бродили больные, и буквально ворвались в Алькину палату... А она лежит в кровати, читает книжку, голова полотенцем обмотана, сама розовенькая и свеженькая — видно, только что из-под душа. Я прямо от дверей увидела название книги — «Моя жизнь...» — остальное было закрыто Алькиной рукой, но я догадалась — «Моя жизнь в искусстве» Станиславского. Слава Богу, значит, лежит себе и к экзаменам готовится!

— Ну вот, а ты панику пустила... — шепнула мне Ирина.

А я и сказать ничего не могла в свое оправдание: силу меня не было от великого душевного облегчения. Я просто пожала Ирине руку — прости, мол! А та руку вырвала и замахнулась на меня и тут же за сердце схватилась — но это уже была игра! Добрели мы обе до Алькиной кровати и сели в ноги. Сидим и молчим, на Альку глядим.

А чего это вы пришли и молчите? — Спросила Алька, закрыла книгу и сунула ее под подушку. — И чего это на вас обеих лиц нет? Случилось что-нибудь?

— Н-нет, — отвечает Ирина. — Ничего случилось. А ты что, мылась?

— Ага. Голову в душе мыла, а то у меня волосы патлами висели. Сегодня сестра хорошая дежурит — ленивая, так она меня одну в душ запустила, и я плескалась там сколько хотела...

Я сидела и чувствовала себя полной идиоткой — со всеми своими ужасами, молитвами, псами рычащими и автобусами смердящими... А главное — с той паникой, в которую я подругу мою, и без того настрадавшуюся из-за невестки, втянула. Что за театр я устроила? Стыд-то какой... Сижу и сгораю от него потихоньку.

— Чувствуешь-то себя как? — слабым голосом спрашивает Ирина невестку.

— Великолечно! — улыбается Алька. Ирина бросает на меня выразительный взгляд — и я съеживаюсь уже в полное ничтожество.

— Ну, показалось мне... — виновато говорю я и пожимаю плечами.

Этого Ирина не выдерживает:

— Ей показалось! Ну и смотрела бы сама, а что ж другим-то показывать, что там тебе показалось? — сплела она нечто невразумительное, но обличающее. Пришлось ее выпад оставить без ответа. Тем более что на душе легчало с каждой минутой.

— Да что у вас случилось-то? — спрашивает Алька и с любопытством переводит глаза с одной дуры на другую. — Ну, рассказывайте, что там у вас? Не бойтесь меня расстроить, я прекрасно себя чувствую. Ну, давайте, колитесь!

И Ирина раскололась — ей-то не так стыдно было признаваться.

— Представляешь, звонит мне Надежда спозаранку и ни с того ни с сего заявляет, что с тобой плохо, что за тебя надо срочно молиться, и велит звонить всем знакомым — строить их на молитву. Клуша несуразная, богомолка наша усердная! — Иришка кипит, но я вижу, что она просто спускает пар — и тоже спускаю ей и «клушу», и «богомолку». А она продолжает, наращивая пафос: — И я ей верю! Дальше — больше: она тащит меня из постели на службу в храм, конечно, дальний, там мы оббегаем всех святых, расставляем свечи, потом ныряем в метро и летим к тебе! По дороге сюда она мне еще кучу православных страшилок рассказывает — про бесов в образе Канарских догов. И я на это покупаюсь! И мы — в метро! — молились! — вслух! На потеху публике. Ну, эта — ладно она давно об церковь ушиблась, а я-то! Трезвый человек, зрелая личность!

Алька смотрит на нас, вытаращив глазищи потом ахает, зажимает рукой рот и вдруг спрашивает непонятно:

— Так это вы, голубушки, мне шнурочки укоротили?

— Какие еще шнурочки? — гневно спрашивает Ирина.

Алька вдруг бросается нас по очереди целовать — целует и хохочет. Впору снова испугаться. Но она как-то мгновенно успокаивается, откидывается на подушку и говорит:

— Так вот, значит, что такое молитва... Милые мои, вы же меня сегодня спасли своими молитвами! И, кажется, даже вылечили... Совсем!

— Не понимаю... Ты можешь хоть что-нибудь сказать вразумительное? — просит Ирина.

— Могу. Только сначала я вам что-то покажу. — Она встает с кровати, идет к шкафу, в котором лежит ее одежда, и достает большую обувную коробку. — Ира, я просила тебя принести мне сапоги для прогулок по больничному саду, так?

— Ну да, вот эти самые сапоги, — говорит Ирина, открывая коробку. В ней лежат косматые и черные Алькины уличные сапоги.

— Ты ничего не замечаешь, Ирина?

— Нет... А что я должна заметить?

Сзади погляди. Сзади на сапожках в два ряда идут железные колечки. Ну и что?

— Экая ты невнимательная, Ирина! В эти колечки были продернуты шнурки, которые сверху были завязаны такими симпатичными бантиками!

Ирина все еще недоумевающе на нее смотрит.

— Шнурки?

— Ну да! Для красоты — такой дизайн. И шнурки, между прочим, были нейлоновые, очень гладкие, крепкие и довольно длинные. Но оказалось — недостаточно длинные! — И Алька опять хохочет.

Ирина бледнеет. До меня тоже, кажется, начинает потихоньку доходить, но пока смутно — просто со дна души опять поднимается тень той страшной утренней тревоги за Альку.

— Надежда не ошиблась. Я опять пыталась сегодня покончить с собой...

Мы обе замерли.

— Да, пыталась. Снова у меня в голове завертелись по кругу мысли о том, что надо свести счеты с жизнью. А потом внутри зазвучал вкрадчивый голос: «Ты умная, ты всех обманешь. Скажи свекрови, чтобы принесла тебе сапоги для прогулок и ни слова не говори про шнурки в них. Шнурки сзади, в меху они, почти незаметны. Попроси Ирину принести сапоги вечером накануне дежурства Елены в пятницу. Никто не заметит шнурки, и сапоги пропустят. А в субботу будет дежурить Елена, ты у нее попросишься в душ и захватишь с собой шнурки. И все у тебя получится — ты освободишься и обретешь покой!» Все так и получилось: сапоги ты мне принесла, сестричка Елена пустила меня одну принимать душ. Вошла я в ванную комнату, залезла в ванну, встала на ее край, вынула из кармана халата заранее связанные шнурки один конец привязала к кронштейну душа, на другом завязала петлю. Но сколько я ни старалась дотянуться с бортика ванны до петли — ничего у меня не выходило! Коротки оказались шнурочки! Я уж и на тот край ванны, который у стены, как-то исхитрилась встать, держась за лейку душа, — все равно никак не получалось! Возилась я, возилась — а потом вдруг ясно поняла, что ничего у меня не выйдет и все это напрасные хлопоты «Ладно, — думаю, — в другой раз!» Развязала я свою петлю, отвязала шнурки, сунула снова в карман халата, висевшего на двери, с горя стала мыться. И вот, мои милые, пока я мыла голову и сама мылась, с меня как будто всю дурь мою смывало. Вспомнила я слова отца Николая и твои, Надежда, о том, что шепчет мне никакой не «внутренний голос», а самый настоящий бес. Я даже приговаривать стала: «Водичка, водичка, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа смой с меня наваждение бесовское!» И все с меня смыло... Мне даже почему-то смешно стало при мысли о провалившемся бесовском замысле: так хорошо все было продумано, да просчитано плохо — каких-то семи сантиметров, может быть, всего и не хватило! А когда я вытерлась и надела халат, то в кармане нащупала шнурки. И вот тут знаете, мои дорогие, что я сделала? Я вытащила шнурочки эти и завязала их таким пышным сложным бантиком, такой хризантемой. А потом зашла в туалетную кабинку и бросила их в унитаз со словами: «На тебе шнурки, можешь сам вешаться! Это у тебя положение безвыходное, а мне это ни к чему — меня Бог хранит! Держи — дарю!» — и с такими словами я спустила воду унитазе. Только вода рывкнула да труба всхрипнула. И с этими шнурочками бантиком будто развязалась я и с бесовской силой.

А знаете, кто меня встретил, когда я вернулась в свою палату? Отец Николай! Я ему очень обрадовалась, но и удивилась: он обычно звонит перед тем, как приехать, чтобы я могла

подготовиться. А он говорит мне: «Я вспомнил, что обещал вам привезти книгу святого Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Места себе что-то не находил, все о вас думал: сегодня суббота врачи отдыхают, времени у вас много будет свободного, а вдруг вам читать нечего? Ну, вот и привез...» Я батюшке сразу рассказала все как есть. Он принял у меня исповедь и отпустил мне этот грех. А завтра он приедет и причастит меня в храме у святого Пантелеймона.

Так, значит, Алька читала вовсе не «Мою жизнь в искусстве» Константина Станиславского, а «Мою жизнь во Христе» святого Иоанна Кронштадтского! Почему-то эта похожесть и противоположность двух книг еще долго не выходила у меня из головы. Я про себя думала: а я-то где живу, во Христе или в искусстве?

Развязка

Подготовилась она основательно, выбрала способ, время и загодя привела в порядок все дела: сделала генеральную уборку в квартире, проверила, не остается ли позабытых долгов, сходила к нотариусу и составила по всей форме завещание — оставила петербургскую квартиру, деньги на банковском счету и дачу в Мельничном Ручье старшей сестре, жившей с мужем и детьми в Саратове, причем жившей очень скромно. Конверт с копией завещания, на котором был написан адрес и телефон сестры, она оставила на столе. Если машина не загорится, то в ее сумочке найдут паспорт, ну а загорится — тоже не беда: рано или поздно личность все равно установят, квартиру вскроют и завещание найдут. Так что ее смерть сестру, конечно, огорчит, но потом, когда та прочтет завещание, — будет ей и утешение. А уж Константина ее смерть вряд ли глубоко опечалит...

Она часто проезжала мимо строящейся развязки КАД, кольцевой автодороги, неподалеку от Гражданки, и ее поражали циклопические колонны, поддерживающие полотно эстакады, их высота, делавшая эстакаду похожей на некий космический трамплин для межзвездной ракеты. Хотя она, конечно знала, что ракеты взлетают вертикально из шахт, устроенных в земле, но впечатление было именно такое. Однако решение использовать это место для самоубийства пришло к ней во время телепередачи новостей. Снимавший строительство развязки оператор, похоже, имел сходное с нею «космическое видение» и явно мечтал о «большом кино»: он снял недостроенную эстакаду из кабины автомобиля: камера несется по взлетающему в небо дорожному полотну и останавливается у самой черты обрыва. Лихой оператор, что и говорить. И вот тут-то к ней неожиданно и пришло решение: «А я разгонюсь и не остановлюсь, взлечу в небо — и конец!» Конец она представляла себе таким образом: она в своем автомобиле взлетает в небо, изо всех сил сжимая руками руль, машина набирает по инерции высоту — какую, интересно. Но уж какую-то набирает, — а затем ухает вниз, на бетон уже проложенного внизу отрезка развязки и превращается либо в бензиновый факел, либо в кучу железа, пластмассы и разорванной на части человеческой плоти. У нее даже мелькнула мысль купить кинокамеру, установить ее где-то сбоку от эстакады, чтобы зафиксировать этот момент, — а перед тем заодно бы и номер машины можно снять, чтобы потом легче было установить личность. Но ей показалось, что в этом есть некая театральность, да и возиться не хотелось. Поэтому она ограничилась тем, что за неделю до намеченного воскресенья съездила к развязке, оставила неподалеку машину и все тщательно проверила. Да, на строительство проехать было совсем не сложно: тут не было ни забора, ни сторожей, а к эстакаде вел съезд с еще закрытой для проезда автострады, по которому можно было взять хороший разгон. К этому-то съезду и вела временная грунтовая дорога, по ней к стройке подъезжали строительные машины и подвозились стройматериалы и механизмы, по которой и она приехала на разведку. Дорога На выходные перекрывалась простым шлагбаумом с дощечкой «Проезда нет», даже замка на нем не было. Она поднялась пешком по эстакаде до самого

обрыва и поглядела вниз.

Впереди внизу, на расстоянии метров пятидесяти, лежало широкое пустое полотно будущей КАД. Бетон. Высота. Автомобиль с разгона должен благополучно пролететь эти пятьдесят метров. Приземление всмятку с пожаром или без, было обеспечено. Она вздохнула с облегчением: решение было принято и даже привычная терзающая боль, кажется, отступила.

В оставшуюся до смерти неделю она старалась вообще не думать и не вспоминать о Константине. К чему, если решение найдено? У нее даже не было искушения позвонить ему, послать SMS-ку или письмо. Она просто методично и старательно приводила в порядок все, что оставит после себя. Во-первых, взяла на работе отпуск на две недели за свой счет, убрала квартиру, съездила на дачу и там тоже навела порядок, закрыла дом, сарай и садовый домик и отнесла ключи к соседке, предупредив ее, что уезжает надолго, а без нее может приехать сестра и ей надо будет отдать ключи. Соседка сестру знала, так что тут она тоже никому не оставляет проблем.

В субботу она занималась сжиганием бумаг в печке, превращенной в камин: дом был старый и в квартире сохранилась прекрасная кафельная печь, выручавшая ее деда и бабушку в блокаду. Она не только сожгла письма и кой-какие фотографии, которые не хотела оставлять сестре, но и просмотрела все книги, — у нее была привычка закладывать книгу первой попавшейся под руку бумажкой. И действительно, несколько старых личных писем она в книгах нашла, и это были как раз такие письма, которые она ни за что не стала бы показывать старшей сестре. Она и их сожгла, похвалив себя за предусмотрительность и педантичность.

В воскресенье утром она зачем-то сходила в парикмахерскую и сделала прическу, а потом долго гуляла по набережной Невы, прощаясь с городом. Почти с удовольствием пообедала в плавучем ресторане, сидя у окна, выходящего на Стрелку Васильевского острова. К счастью, она нигде не встретила никого из знакомых, и день прошел спокойно. А потом, ближе к вечеру, она поехала к развязке. Подъехала уже в сумерках. По дороге решила, что тянуть она не станет, а, въехав на строительную площадку, сразу заедет на съезд и оттуда рванет на эстакаду. Все обошлось благополучно, на стройке никого не было, она вышла из машины, отвела загородку шлагбаума, въехала на территорию, снова вышла из машины и аккуратно поставила шлагбаум на место. Все. Можно было садиться за руль и начинать последнюю в жизни по ездку. Но почему-то ей захотелось подняться по эстакаде пешком и еще раз взглянуть сверху на то место, где она должна будет приземлиться. Почему бы и нет? И она пошла вверх по эстакаде, идя по самой ее середине.

Пока она поднималась, она слышала шум машин откуда-то неподалеку, видимо, со стороны старой дороги, по которой и она приехала, но, поднявшись на самый верх и глянув вниз, она похолодела и опустила на колени: внизу, по полотну новой автодороги сплошным потоком шли машины. Люди возвращались с дач и с пикников. Ехали машины с лодками на прицепах и машины-фургоны, шли машины с детьми на задних сиденьях...

Она развернулась и побежала вниз, к своей машине. Она не помнила, как выехала со стройплощадки, не помнила, закрыла ли за собой шлагбаум или забыла. Вообще ничего не помнила, даже того, куда теперь ехала. Просто мчалась по шоссе, сжимая руль и твердя: «Господи!.. Господи!.. Господи!..» Несколько раз она останавливалась, потому что к горлу вдруг подкатывала тошнота, и приходилось выходить из машины и бежать в кусты, где ее рвало самым беспощадным образом. Ей было плохо, не хватало воздуха.

Она до отказа опустила стекла обоих окон... Потом долго мчалась по Охтинской набережной Невы, сама не понимая, куда она едет. Ехала уже в темноте и в конце концов оказалась

сначала в Автово, а потом в Стрельне. Здесь ей пришлось все-таки остановиться, потому что на приборной доске замигал красный огонек — кончался бензин. Она подъехала к автозаправке и залила полный бак. Потом отвела машину на край стоянки, села за руль и громко спросила себя: «А теперь куда я еду?» Тут она услышала тихий и густой колокольный звон и поехала на него. По дороге нагнала какую-то компанию молодежи, приостановила машину, высунулась в окно и спросила:

— Где это звонят, молодые люди?

— От молодой и слышим! — весело отозвался один из парней. — Это в монастыре звонят, в Сергиевой пустыни: вот до светофора доедете, а за ним начнется монастырский парк.

«Вот куда мне сейчас надо!» — подумала она. Туда и поехала. Остановила машину возле ограды, увидела людей, входящих в ворота. На почти негнувшихся ногах пошла за ними мимо темных кустов и больших деревьев. Вошла в едва освещенный храм и сразу же зашла за колонны, прячась от людей. Там она сначала просто стояла как истукан, а потом начала плакать и в конце концов упала на колени и разрыдалась. «Господи, прости меня дрянь такую, прости меня, убийцу!» — шептала она, а перед глазами ее все шел и шел поток машин с лодками, с корзинками, букетами и детьми на задних сиденьях.

Она не знала, сколько прошло времени. В храме что-то пели, что-то читали. Потом одни люди стали выходить, а другие, наоборот, прошли вперед. К ней подошел пожилой, даже скорее старый монах, с длинными седыми волосами и бородой.

— На исповедь? — спросил он.

— Да! — сказала она и тут же спросила: — А можно?

— Вы крещеная?

— Крещеная... Только я никогда не была на исповеди. А мне очень надо, я убийца, батюшка! Понимаете, какой ужас?

— Да уж чего хорошего, — ответил монах. — Ну, так пойдемте, я вас поисповедаю.

И пошел вперед. Ей хотелось догнать монаха и взять его за руку, потому что ноги ее все еще плохо слушались, но она не решилась и пошла так, иногда придерживаясь за колонны.

* * *

КАД достроили почти полностью. Она, конечно, не любила проезжать ту развязку, но иногда приходилось. Как-то она заехала в маленькое кафе при автозаправке — очень хотелось пить, а купить какое-нибудь питье на дорогу она забыла. И вот надо же случиться такому совпадению! Именно сидя за столиком перед кафе, потягивая апельсиновый сок и глядя на ту самую развязку, она вдруг увидела за одним из столиков ЕГО! Константина! Впервые за прошедшие с тех пор почти три года. Он сидел с девушкой и явно обволакивал ее словами. Она усмехнулась, опустила на лицо волосы с той стороны, где сидел Константин, и стала слушать и наблюдать за ним. Странное дело, разум отмечал знакомые слова, даже целые блоки знакомых фраз, когда-то зачаровавших ее, мучительно привязавших к этому совершенно чужому теперь человеку. Его позы — горделивое закидывание головы, проникновенные многозначительные взгляды с одновременным ритмичным постукиванием пятки о пол, — все теперь казалось ей раздражающе пошлым и даже убогим. И дело было не в том, что она уже год как была счастливо и безмятежно замужем: просто сейчас она не видела в нем ничего, что могло бы

вызвать в ней хоть какой-нибудь романтический отклик или воспоминание, причинить ей хотя бы самую короткую и маленькую боль. Так, выходит, все дело было только в ее эмоциях? И только они эти ее эмоции, а вовсе не он ослепили ее и сделали послушной игрушкой страстей? Через четверть часа она заметила, что уже давно не слушает, что там говорит своей новой избраннице или жертве Константин, а вспоминает пережитый на этой развязке ужас и свою первую исповедь у батюшки. Милый, дорогой друг отец Андрей, как сурово и ласково он тогда вразумлял ее! Ей стало скучно и неинтересно слушать и наблюдать дальше сцену оболыщания, она встала, положила деньги под бокал с недопитым соком и вышла, стараясь идти так, чтобы он ее не заметил и не узнал. Потом села в машину и спокойно поехала прочь.

На этой пустынной дороге

Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. (Лк. 12,58-59)

Раз, всего лишь раз
На миг забудьте об орке-е-е-стре!

Забудешь, как же! Опять этот рыжий... Я нашарила на тумбочке пластиковый футляр с восковыми берушами, достала парочку и засунула в уши, — но вопли рыжего проникали сквозь воск; я злобно натянула на голову подушку, но и это не помогло. С трудом поднявшись с постели, я побрела к окну — закрывать: пусть уж лучше будет душно, чем шумно. Сенная площадь... Я обитала тут всего две недели, но уже почти вошла в ритм ее жизни. Часов с двух ночи и до позднего утра было, можно сказать, почти тихо, я даже спала с приоткрытым окном. К десяти утра устанавливался довольно ровный уровень шума — торговый, так сказать, деловой. Внизу, под самыми окнами, продавали уцененные аудиокассеты. Продавцов было двое, и они торговали по очереди, а их оглушительная музыкальная реклама носила резко отличный характер. Когда торговала девушка, музыкальная атака могла быть самой неожиданной: русские романсы вдруг сменялись разбитной песенкой про «мадам Брошкину», нервный аккордеон Астора Пиаццоллы — печально осточертевшим адажио Томазо Аль-бинони, иногда еще и с каким-то невыносимо пошлым текстом. Порой это можно было терпеть, несмотря на предельную громкость, но иногда все-таки приходилось прикрывать окно. Зато второй продавец был в своих вкусах невыносим постоянно и гонял на всю Сенную исключительно блатные песни. Не знаю уж, чья музыкальная реклама приносила хозяину больший доход, но мне тюремная лирика досаждала сильнее: в эти дни я держала окно запертым до восьми вечера, до закрытия музыкальной палатки. Впрочем, однажды я делала уборку, и окно мое было открыто в течение двух часов, за что и была я наказана и обозвана «тёткой». Сметая с потолка паутину щеткой на длинной ручке, которую мне дала соседка Лена, я вдруг услышала проникновенное сообщение:

Полковник опять застрелился
В глухую осеннюю ночь...

Я чуть не разбила плафон люстры, от неожиданности выпустив из рук свое орудие труда. «Послышалось», — подумала я. Но через какое-то время полковник опять застрелился, и после этого я невольно прислушивалась — не застрелится ли он еще раз? И странный этот полковник стрелялся еще раз пять или шесть, заинтриговав меня до крайней степени. Покончив с уборкой, я переоделась и вышла на площадь.

— Я хотела бы купить у вас кассету с песней про полковника, который «опять застрелился», —

обратилась я к продавцу.

— Это какая кассета, как называется? Кто поет? — спросил продавец, здоровый парень в кожаной куртке и надвинутой ниже бровей черной вязаной шапочке. — Я не знаю названия кассеты. Но там есть песня, а в ней слова: «Полковник опять застрелился в глухую осеннюю ночь».

— Нет у меня такой песни, — равнодушно отвечал продавец.

— Ну как же нет, когда вы ее раз пятнадцать сегодня ставили.

— Я такой песни не знаю, женщина.

— Вы разве сами не слышите песен, которые гоняете на всю Сенную?

— Слушай, тетка, иди по типу отсюда, не мешай торговать!

Ну, я и ушла «по типу отсюда», так что судьба многостреляющегося полковника так и осталась для меня неразгаданной тайной.

Напротив дома, в котором я теперь жила, на месте взорванной в начале шестидесятых церкви Успения Богородицы, больше известной в народе как Спас-на-Сенной, находилась станция метро «Сенная площадь». Сам по себе поток пассажиров даже в час пик на этой станции не был шумным, но возле метро группировались торговцы с рук: они рекламировали свой товар, наступая на входящих и выходящих из метро граждан и сурово покрикивая: «Не проходим мимо! Колготы на все ноги!», «Берем сырки глазированные, берем сырки глазированные, не просроченные!». «Подходим и выбираем бюстгалтеры всех размеров!», «Покупаем белорусский шоколад! Дешевый шоколад! Все покупаем белорусский шоколад!». Прежде я и не замечала, что зазывания современных уличных торговцев приняли такой агрессивно-командный характер: «Не проходим», «Покупаем», «Все берем»!

За станцией метро, в первом этаже старинного шестиэтажного дома, разместился «Макдональдс», зачем-то вывесивший динамики своей музыкальной аппаратуры на улицу и бесплатно ублажавший прохожих рок-музыкой. Может быть, у них хоть внутри тихо? Пищеварительный процесс под такую музыку невозможен: надо будет, когда поправлюсь, зайти и проверить.

Все остальное пространство площади было занято труднопроходимыми джунглями киосков, павильонов, палаток, тележек и лотков, а завалы из бетонных блоков, железной арматуры, обломков потемневших деревянных мостков и фанеры, оставленных строителями станции метро «Садовая», да стаи одичавших собак дополняли сходство с джунглями. Вдоль разрушенных тротуаров текли оливковые потоки жидкой грязи, образуя тихие заводи в подворотнях окружающих площадь домов, а на перекрестках и возле подземных входов в метро — целые озера густой вонючей жижи; мерещилось, что кто-то там копошится на дне, передвигается, поднимая небольшое, едва заметное глазу колыханье поверхности, безглазо наблюдает за тобой из воды, подстерегает. Эти городские болота напоминали о сельве да о книгах Даррелла и были особенно опасны в темноте. Не менее зловещими казались и пещеры подворотен откуда на вас мог вполне дружелюбно смотреть отдыхающий на ящике бомж, а мог выскочить и кто похуже, потребовать денег на выпивку, а то и просто выхватить из рук сумочку и скрыться в темноте, в которую никто никогда и ни за что не осмелится углубиться за ним.

Днем из джунглей Сенной до моих окон поднимался мощный и густой шум, часто взрывавшийся криками: мальчишки-беспризорники подрались, воришку поймали возле

уличного прилавка, хозяева соседних киосков что-то не поделили, торговки поругались между собой или с покупателями — обычный шум торговой площади эпохи раннего российского капитализма середины девяностых.

Как ни странно, вечерами на площади становилось тише. Но иногда, часов так в семь-восемь, на ступенях метро появлялся рыжий певец с гармошкой, этаким бывший премьер рабочего клуба, озлобившийся и разочарованный в нынешней жизни, однако не потерявшийся в ней. Репертуар у него был обширный: он пел, как «враги сожгли родную хату» и как некто «на палубу вышел, а палу бы нет», и прочую древнюю уличную классику, пел и народные песни, в том числе не менее пяти разных «Троек», пел какие-то новодельные частушки про «демократов-блинхватов». Частушки, как им и положено было по нынешней традиции, были не без скабрёзностей:

Я купила себе боты
На резиновом ходу.
Если выгонят с работы —
В «интердевочки» пойду!

Но всего охотней Рыжий орал песни из репертуара Аллы Пугачевой, он вопил их: на разрыв связок и аорты, и оттого казалось, что он знаменитую звезду злобно пародирует.

А где-то после десяти шум начинал посте пенно стихать, и ночью меня будили в основном драки бродячих собак. Когда расходились продавцы и покупатели, наступало их время. Разнопородные и разновеликие псы и шавки носились стаями по всей площади и ее закоулкам, добывая пропитание из мусорных куч между ларьками. Вся площадь была у них поделена на сферы влияния, и потому нередко возникали острые пограничные конфликты сопровождаемые рычанием и громким лаем.

Несколько раз меня будили сирены милицейских машин, приезжавших на место взломов хлипких торговых точек. В общем, веселое это было место — Сенная площадь — провинциальная ярмарка и «пикник на обочине» в самом центре города.

Зато с квартирой мне сказочно повезло. Когда меня несколько раз подряд надули и обобрали в агентствах по найму жилья, стало ясно, что покуда я не прибегну к более испытанному и надежному способу поиска квартиры, меня так и будут «пропускать через лохотрон» (позже я объясню, что такое «лохотрон», непросвещенному читателю, ежели таковой счастливцев найдется). Я принялась обзванивать подряд всех своих знакомых; и старый добрый метод сработал, уже третий звонок оказался удачным: один мой приятель купил запущенную квартиру, чтобы отремонтировать ее, благоустроить и потом продать за хорошие деньги. «Если тебя не путает, что окна выходят на Сенную, — сказал он, — можешь там поселиться и жить сколько хочешь. Я не буду продавать эту квартиру, пока не закончится реконструкция площади к трехсотлетию Петербурга. Денег я с тебя не возьму, у тебя их нет и, скорее всего, не будет. Плати по счетам и ладно, а мне спокойней, что квартира под присмотром». Так я и поселилась в квартире номер 6 в доме 40 на углу Садовой и Сенной.

Квартира эта до революции была, разумеется, отдельной, и обитал в ней священник, служивший в Успенской церкви, да и весь этот старинный и красивый дом занимал причт. После революции церковный люд потеснили, и на протяжении всей советской власти квартира была коммунальной. Купив в ней две комнаты, мой приятель предложил соседу, занимавшему другие три комнаты, устроить перепланировку и сделать две отдельные квартиры. Соседу идея понравилась, и теперь на месте коммуналки появились две квартиры, связанные небольшим коридором с общим выходом на лестницу. Хозяин квартиры представил меня соседям и

попросил меня покровительства, поскольку «такой нескладехи свет не видывал и потому за ней нужен присмотр». Соседа звали Валера был он типичный «мальчишка с Сенной» хотя было этому «мальчишке» уже далеко за сорок: невысокий, худой и жилистый, с резкими чертами красивого, чуть сероватого лица, характерного для курящих «питерцев» — не «петербуржцев», с длинным носом и смешливым тонкогубым ртом, подвижный неунывающий и беспечный. Был он общителен и говорлив, как сорока. Зато жена его Леночка, белолицая, голубоглазая и белокурая, напротив, была сдержанна в движениях, в общении неназойливо приветлива и молчалива — классическая петербурженка. Столь отличные друг от друга внешностью и манерами, они оба, как мне показалось, были одинаково расположены к людям: Леночка в первый же вечер пригласила меня на семейный ужин, а Валера на другой день прикрепил мне карнизы над окнами и помог переставить мебель по моему вкусу, причем от оплаты категорически отказался. Это было тем более трогательно, что в его собственной квартире. Карнизы висели как-то кривовато, краны текли, а когда кто-то мылся в ванной, свет оттуда был виден в трещины кухонной стены, зато по всем шкафам и полкам стояли у него деланные собственноручно модели морских судов, и как мне показалось, выполненные мастерски. Другим серьезным увлечением Валеры было воспитание сына и дочери, чудесных пятнадцатилетних близнецов. Леночка же ходила на работу в библиотеку, тихонько заправляла домашним хозяйством, пеклась об уюте, делала закупки, готовила завтраки, обеды и ужины, а остальные домочадцы исправно завтракали, обедали и ужинали и лишь иногда, в особо оговоренных случаях, мыли посуду.

Можно сказать, что история, которую я хочу рассказать, началась именно из-за воспитательского рвения Валеры. Как-то встретив меня вечером в нашем общем коридорчике, он спросил:

— Ну как, Ирина, шум с площади не достает?

— Достает, но терплю. Что поделаешь — места «достоевские», исторически неудобные.

— А ведь правда! Надо будет мне с моими ребятишками этим заняться — выяснить все здешние места, связанные с произведениями Достоевского. Спасибо за идею!

Так вот Валера меня на место поставил и сам того не заметив: я ведь этим жалким каламбурчиком о «достоевских местах», где «шум достает», хотела себя тайком побаловать-потешить, а он заметил только прямую суть и поблагодарил простодушно.

Мне стало стыдно: человек искренне беспокоится о моем комфорте, а я его вульгаризмы обыгрываю. Совесть после этого угрызала меня не менее суток, но как только я убедилась, что Валера укола моего вовсе не заметил, совесть моя свернулась калачиком в уголке, притихла и задремала.

Через два дня Валера постучался ко мне в дверь.

— Смотрите, что я разыскал у букинистов Литейном! — Он торжественно вознес головой маленькую книжечку в твердом переплете. — «Достоевский в Петербурге»! Про нашу Сенную тут целая глава.

— Замечательно, Валера! — поддержала я его, про себя подумав с сомнением: а надо ли это его близнецам? Но неожиданно Достоевский понадобился мне самой.

Переехав на Сенную, я почти сразу же заболела. Сначала я только кашляла и сипела, через неделю запущенная простуда плавно перешла в бронхит с высокой температурой и раздражающим грудь кашлем. Пришлось пройтись по Сенной, закупить продукты, лекарства и

улечься в постель.

К врачам я решила пока не ходить. В этом я была типичная русская женщина, ведь, как известно, женщины русских селений не лечатся, а только реанимируются, запуская болезнь до полной невозможности терпеть, то есть до вызова скорой помощи или неотложки. Перед залеганием в постель я попросила у Валеры что-нибудь почитать: все мои книги остались у брошенного мужа, ведь покинула я супружество с одной дорожной сумкой через плечо.

— Хотите Достоевского? У нас есть полное собрание сочинений.

— Чудно! Дайте мне, пожалуй, «Преступление и наказание».

— А вот это, к сожалению, не могу, — развел руками Валера. — Мы с ребятишками сейчас как раз обходим раскольниковские места. Читаем наш справочник, находим это место в романе, а потом уже идем разыскивать улицу и дом. Вот так я своих и приучаю к чтению. А как же без книг? Нельзя! Не хочу, чтобы они у меня росли отморозками. Хочешь компьютер — пожалуйста! Я два месяца сверхурочно трамваи гонял, чтобы на компьютер заработать. Купил, к Интернету подключил, но с одним условием: сколько за компьютером сидишь, столько удели внимания и книгам! Только так! И знаете, ребятам нравится ходить по городу с книгой: это лучше всяких экскурсий, ведь нас будто сам Федор Михайлович водит по улицам. Потом у нас на очереди «Идиот». Хотите, я вам «Братьев Карамазовых» принесу?

— Но только если у вас не намечено на ближайшее время паломничество в Оптину Пустынь!

— В Оптину... А что, надо подумать! Вот спасибо за идею!

Достоевский — не лучшая библиотерапия когда болит голова и нечем дышать, но у классики есть великое достоинство по сравнению с детективами или фантастикой: невозможно читать Достоевского и думать о своих проблемах, не обращая внимания на читаемый текст. А я как раз и не хотела погружаться в мысли о своей семейной трагедии, решив, что надо избрать что-нибудь одно — болеть либо телом, либо душой. Словом, я читала «Братьев Карамазовых», а болезнь моя развивалась полным ходом, и к вечеру пятого дня температура поднялась до сорока градусов. Я дошла уже до главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». Уже почти в бреду читала я легенду, рассказанную Ивану Федоровичу чертом.

«Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ — все отвергал — законы, совесть, веру», а главное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадрильон километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадрильон, то тогда ему отворят райские двери и все простят...».

Я уронила книгу на одеяло и задумалась. Интересно, а что же было с «философом» на этой пустынной дороге во мраке? И так ли уж она была пустынна, эта дорога? И для чего это — «во мраке»? Уж не заврался ли черт? Я снова взяла книгу и стала читать дальше.

«Ну, так вот этот осужденный на квадрильон постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!»

Ну, так я и думала. Попался-таки черт на вранье! «Постоял, посмотрел...» А на что посмотрел, ежели «во мраке»? А если не мрак, то — что? Может, что-нибудь похуже мрака было там, на этой дороге? Я снова отложила книгу и забылась тяжелым сном.

* * *

А во сне я умерла.

Произошло это так. Я проснулась от какого-то непонятного яркого и тревожного свечения за окном. Я встала, подошла к окну и отодвинула занавеску. Вместо станции метро я увидела церковь Спаса-на-Сенной, охваченную голубым пламенем. Она была не такая, как на старых гравюрах, а серая, мрачная, уже разрушающаяся: на куполах кое-где висели клочья ржавого железа с редкими струпами позолоты, с фронтона осыпалась часть карниза, а на классических колоннах красной плесенью темнели кирпичные проплешины. Одни только золотые кресты ослепительно сияли в страшном голубом свете. Вдруг церковь задрожала, покачнулась, приподнялась в воздухе на четверть своей высоты — и рухнула, подняв в небо грибовидное облако пыли. Вслед за нею взлетело на воздух здание гауптвахты, еще недавно бывшее автовокзалом, за ним — Вяземская лавра, в которой находился громыхающий музыкой Макдональдс, а потом и прочие дома, окружавшие Сенную.

На какое-то время стал виден Екатерининский канал, коленом огибавший Сенную, но вот взлетел на дыбы горбатый мостик, черными гребешками мелькнули в воздухе вырванные из гранита секции чугунной ограды, вздыбилась длинным горбом маслянистая вода и канала тоже не стало. Затем окружающий мир погрузился во мрак, и я только успела понять, что погибла вместе со всем этим бедным и скорбно мною любимым миром.

Очнулась я в полной темноте. «Что же это такое — конец света или только мой конец, атомная война или смерть от пневмонии?» — были первые мои мысли. Я не удивилась ни тому, что я умерла, ни тому, что живо мое сознание. Хотя и весьма неопределенно, но в Бога и в бессмертие души человеческой я каким-то боком, неотчетливо, но все-таки верила: при современном развитии науки верить в то, что все существующее в мире зародилось само собой от стечения обстоятельств, по-моему, и невежественно, и невежливо по отношению к Высшему Разуму. Ну да, конечно, я верила в то, что мир и все в мире создано каким-то Высшим Разумом, Им же все держится и управляется. А как именно это происходит, об этом я не задумывалась.

Верила я и в бессмертие какой-то основной и главной части человеческой личности, именуемой «душой». Я только никогда всерьез не задумывалась, а что будет с этой «бессмертной частью моей личности» после смерти? Что-нибудь да будет, придет время и увижу, примерно так я рассуждала. Что ж, вот и представился случай разузнать точнее.

Холод и тишина окружали меня. Я стояла на месте, а может быть, просто висела в пространстве. Я вспомнила, как поступил в моем положении герой легенды: лег поперек дороги, «пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел». Лежать неизвестно на чем, неизвестно где и неизвестно зачем мне определенно не хотелось. Я сделала шаг — невидимая дорога под ногами была плотной, вещественной, даже как будто что-то хрустнуло под ногой. Шаг, другой, третий... Если все время идти, вероятно, куда-нибудь да придешь.

Потом я углядела в стороне крохотную яркую звездочку. Она разгоралась все ярче и становилась крупнее, и вскоре я поняла, что она приближается ко мне. Затем я увидела, что от звезды протянулся ко мне сквозь мрак туманно-светлый луч и лег между нами мерцающей светлой полосой, как лунная дорожка на воде, а сама звезда превратилась в светящийся силуэт, очертаниями похожий на человека, довольно скоро приближающийся ко мне по этому, им же самими испускаемому, лучу.

Силуэт приблизился и оказался стоящей передо мной прямо на световой дорожке фигурой... — человека, статуи? Нет, кого-то гораздо более величественного. Это было ослепительно

прекрасное Существо, выше меня ростом, с чуть туманными, как бы размытыми, но гармоничными чертами лица. От Существа ко мне шел не только свет, но и какое-то тепло, лишенное теплоты в собственном смысле, — это было что-то вроде физически ощутимого потока расположения и приветливости. Каким-то образом я сразу почувствовала, что Существо это полно любви и мудрости.

— Ирина! — негромко произнесло Существо и протянуло ко мне руку. Я благоговейно коснулась его руки и почувствовала, как через нее в меня струятся покой и любовь.

— Вы — Бог? — с трепетом спросила я.

— Да что это вы такое говорите, Ирина! — сказало Существо, и мне послышалась в его голосе улыбка. — Бога нельзя ни видеть, ни слышать, а вы меня и видите, и слышите — только вот почему-то не узнаете!

Его ли черты обрели большую ясность, мои ли глаза приспособились к ослепительному белому свету, но я стала лучше различать Человеческие черты на сияющем его лице. — Что-то знакомое в нем проступало, но, конечно, на земле я такого прекрасного лица не видела и видеть не могла.

— Ты мой Ангел Хранитель? — попробовала я еще раз.

— Да вы приглядитесь, Ирина, — я же Валера, Валера с Сенной!

Я так и ахнула, и, если бы световая дорожка под нашими ногами не казалась мне зыбкой, будто разостланный на воздухе длинный половичок из золотой соломы, я бы так и села на нее от неожиданности. Я вгляделась пристальней и убедилась, что в лице Существа теперь и в самом деле явственно проступали черты моего соседа по квартире.

— Валерий! Да, теперь вижу, это в самом деле вы! Но что с вами произошло, как это вы стали таким?

— Да вроде ничего со мной не происходило. Я вдруг проснулся среди ночи и увидел яркий свет в окне. Поглядел — а это нашу церковь снова взрывают. Когда ее уже взрывали когда-то, нас всех из домов повыгнали на улицу, и я видел, как это происходило: церковь поднялась на воздух, а потом рухнула вниз. Так было и этой ночью. Но только на этот раз я все хорошо видел, потому что церковь была освещена синим огнем. И еще я понял, что я погиб при этом взрыве. А что с моими — не знаю. Потом поставили меня на эту дорогу, дали напутствие и велели: «Иди!» — Ну, я перекрестился и пошел.

— Какое напутствие, Валера? Мне никто ничего не говорил. Я вообще никого кроме вас не видела, хотя бреду в этой темнотище уже довольно долго.

— А я вот на самом деле встретил моего Ангела Хранителя, он-то мне все и разъяснил.

— И что же он вам сказал?

— Он сказал, что дорога эта ведет в Рай, и на ней я встречу всех, с кем встречался в жизни, и если я перед кем-то виноват, то должен покаяться, попросить прощения и примириться. Он сказал, что я не дойду до Рая, пока не примирюсь со всеми. «Ты заплатишь все долги, отдашь все до последнего духовного грошика, хотя бы ты затратил на это миллион лет, а иначе до Рая тебе не дойти» — вот что сказал мне мой Ангел Хранитель. Поэтому, Ирина, давайте не будем терять время, а пойдем вперед: очевидно, мы Должны часть пути снова пройти вместе, как

проходили его при жизни. Разговаривать можно и на ходу.

— А почему мы с вами оказались вместе на этой дороге, Валера, как вы думаете?

— А я не думаю, я точно знаю, мне Ангел сказал: потому что я очень перед вами виноват, Ирина. Я должен покаяться и попросить у вас прощенья. Между прочим, я как раз об этом и думал перед тем как умереть.

— Вы — виноваты в чем-то передо мной?! Да Бог с вами, Валера! Вы меня так тепло встретили в той квартире на Сенной, заботились обо мне, когда я заболела, и вообще с самого начала вели себя как самый добрый сосед. Карнизы мне повесили...

— А вы не все про меня знаете! Вы ко мне относитесь как к порядочному и доброму человеку, а я совсем не такой. Когда я на работу уходил, Лена велела мне непременно зайти по дороге в аптеку и купить для вас аспирин, а потом взять в молочном киоске молоко. В аптеке была очередь, я отстоял и аспирин взял, а потом глянул на часы — на работу опаздываю! Я решил, что молоко позже куплю, на кольцо, когда у меня перерыв будет. А чего-то сегодня день выдался суматошный, на улицах пробки, я все время опаздывал: приду на кольцо — а мне уже назад заворачивать. Сначала я честно собирался выкроить пять минут и сбегать за молоком — там и молочный киоск есть неподалеку, да все как-то не успевал и не успевал! Я уж и корил себя: если бы сигареты кончились и надо было за ними бежать, небось успел бы! А потом я решил, что после работы сделаю крюк и зайду в круглосуточный гастроном, там и куплю для вас молоко, решил и успокоился. А где-то на самом доньшке души подленькая мысль мелькала: а если сил не хватит крюка давать и в круглосуточный идти, так ведь и без молока Ирина один вечер обойдется — не грудной младенец, завтра куплю! С этим я пришел домой и сразу лег спать, даже Лене ничего не сказал. А ночью проснулся — церковь взрывают! И я прямо сюда и загремел. Как мне мой Ангел Хранитель сказал про долги перед людьми, я сразу же вас первую и вспомнил, кого последнюю обидел, — ну, с конца начал. Не успел оглянуться, а вы вот она! Так что простите меня, что не позаботился о вас, не купил молока, а главное — за подленькие мои мысли.

С этими словами Валера бухнулся на колени на световую дорожку и коснулся ее лбом.

— Валера, милый, да встаньте вы! Нечего мне вам прощать. Молоко какое-то дурацкое... Разве можно сейчас о таких мелочах думать?

— Молоко для больной — не мелочь! А уж Что сам себя при этом оправдывал, так это и вовсе бессовестно.

— Хорошо-хорошо, Валера, я вас прощаю. Только вы поскорей встаньте, пожалуйста. Пожалейте вы меня, передо мной еще никто и никогда не стоял на коленях, мне же неловко. Валера поднялся и сказал с облегчением:

— Фу, камень с души! Вот был бы ужас если бы я вас не встретил здесь, а так бы и ушел в вечность с этой последней виной.

— Какой вы удивительный, Валера! Вот уж не думала, что рядом со мной настолько духовный человек живет...

— Да бросьте вы, Ирина, какая уж там духовность! Я ведь только среднюю школу кончил, да и ту из-под палки... А чего это мы стоим? Давайте пойдем дальше. Мы ведь не куда-нибудь идем, а прямо в Рай.

— Конечно! Идемте, Валера. А вдруг и вправду дойдем?

И мы пошли рядом по светящейся во мраке полосе. Дорога под ногами была упругая и пружинила, как будто снизу ее подпирали сильный воздушный поток. Мы шли и разговаривали о том о сем, больше всего обсуждая события минувшей ночи. Как же это могло быть, что церковь, которую взорвали уже почти полвека назад, вдруг снова взлетела на воздух и взрывом увлекла нас за собой? И одних ли нас? Но мы так ни до чего и не додумались и решили что нам были показаны зрительные образы каких-то невидимых духовных процессов, только вот что это были за процессы — этого ни я, ни даже Валера, который, как вскоре выяснилось, был все-таки православным и даже вполне церковным человеком, не понимали. Валера вдруг спросил:

— Ирина! А почему вы сказали, что перед вами никто никогда на коленях не стоял? Разве у вас никто не просил прощения в Прощеное воскресенье?

— Я и не знаю, что это за Прощеное воскресенье такое.

— Вербное, или Прощеное, воскресенье — это последнее воскресенье перед Великим постом, когда все православные люди кланяются друг другу в ноги и просят прощения за все, чем огорчили друг друга в минувшем году и вообще за всю жизнь.

— Как интересно! Нет, я о таком обряде даже не слыхала.

— Разве вы не православная?

— Православная, наверно: когда я родилась, меня крестили.

— И верующая?

— Да вроде бы. Но я не считаю, что для того чтобы верить в Бога, нужно ходить в церковь и поститься.

— А вот если бы ходили, то через неделю после Прощеного воскресенья, в следующее воскресенье, когда церковь празднует Торжество Православия, вы бы слышали точное определение того, что есть православие, а что — нет, должен православный посещать храм или не должен, обязан он причащаться или нет.

— Ну, мне хватает и своего собственного мнения!

— Вот вам заодно объяснили бы, что есть наше собственное мнение с точки зрения истинного Православия! — засмеялся Валера. — И как оно, это собственное мнение, называется.

— И как же оно называется?

— Да очень просто — прелесть.

— Ну, уж вы скажете! Неужели я не имею права на собственное мнение в вопросах веры?

— По основополагающим вопросам — нет, не имеете.

— Это что ж, я каким-то догматам должна доверять больше, чем себе?

— Можете не доверять, конечно, но тогда уж, будьте добры, не считайте себя православной!

— А как же личная свобода?

— Личная свобода состоит в том, что вы входите в Церковь или не входите. Но уж если вошли — все, Ирочка, кранты! В этом случае придется принимать законы и догматы Церкви и стараться жить по ним.

— Вот поэтому я и предпочитаю не входить в вашу Церковь, а жить своим умом!

— Пожалуйста. Только тогда лучше не называть себя православной, потому как это не соответствует истине.

— Но в этом есть что-то очень унижительное: вы входите в Церковь, и вам начинают указывать, как вы должны молиться, когда вам поститься и как просить прощения. Еще потребуют, чтобы я платок на голову напялила!

— Какая же вы чудачка, Ирина! Если вы, допустим, садитесь на океанский лайнер, вас разве будет унижать, что у штурвала стоит кто-то другой, а вас к нему не подпустят? Унизит вас, когда вам покажут, где ваша каюта и как работает в ней умывальник, как надевать спасательный пояс в случае кораблекрушения и когда можно сходить на берег? А если вы найметесь матросом и вас заставят носить форму, — вас это будет унижать?

— Нет, конечно. Но ведь это корабль!

— А Церковь и есть такой корабль, и вы на него всходите не для того, чтобы высказать капитану и команде свои представления о навигации, а для того, чтобы корабль доставил вас к берегу Спасения. Хотите доплыть до цели — придется соблюдать правила поведения пассажиров на корабле, а вести корабль предоставить капитану. Так оно лучше будет. В этом была своя логика, и я решила перевести разговор на другое.

— О чем мы с вами спорим, Валера? Теперь даже если я и соглашусь с вами, изменить ничего уже нельзя. Расскажите мне лучше, какой он был, ваш Ангел Хранитель?

— О! Он такой высокий, сияющий, с огромными белыми крыльями. Он был... светозарный, вот какой! И знаете, я сразу понял, что он меня очень любит, причем любит давно, с самого моего детства. Мы с ним долго разговаривали, всю мою жизнь пересмотрели и обсудили: он подсказал мне, где я что не так делал, кого обидел, с кем несправедливо поступал. В общем, все мои неисповеданные грехи он мне напомнил.

— Неисповеданные грехи? Валера, вы, наверно, и посты соблюдали, и в церковь часто ходили и исповедовались?

— Конечно. Я ведь в нормальной русской семье родился, да еще и рядом с Церковью жил, еще малышом кресты в небе каждый день прямо из своей кровати видел. Правда, церковь уже тогда была закрыта и превращена в склад, а крестили меня в Никольском храме, в Коломне.

— И детей своих вы тоже крестили?

— А как же, Ирочка! И Лена моя тоже крещена с детства, а ее дедушка знает, кто был? Священник в храме Успения Богородицы на Сенной. Так что дети мои живут в том доме и даже в той самой квартире, где жили их прадеды. Теперь такое редко встретишь!

— Да, теперь такого не бывает.

— Где-то сейчас мои дорогие! — горестно произнес Валера.

Мне захотелось отвлечь его от горьких мыслей.

— Валера, а почему Успенскую Церковь называли еще Спас-на-Сенной?

— Это народное прозвание по одному из ее приделов. Между прочим, ее архитектор — Растрелли.

— А почему ее взорвали в тот первый раз?

— Якобы для того, чтобы построить на ее месте станцию метро. Другого места не нашлось! А за южным рядом домов на Сенной и тогда было достаточно пустого места: можно было бы построить станцию с выходом на Фонтанку, на Сенную площадь и на рынок. Но это же было время хрущевских гонений на Церковь! Я очень скоро поняла, что Валера, на которого я смотрела с изрядной доли снисходительности, оказался куда грамотней и выше меня в духовном отношении, настолько выше, что мне стало неловко: если бы он заглянул в мое нутро, он бы не захотел идти вместе со мной по этой пустынной дороге, дружески беседуя. А мне надо было срочно расспросить Валеру о Боге, о Церкви. И я это обязательно сделаю, но сначала... О Господи, если Ты есть, помоги мне как-нибудь, дай нужные слова! Как же мне попросить у Валеры прощения за свое тайное высокомерие, за это мерзкое чувство превосходства, за чуть насмешливую мою снисходительность? Боже мой, как стыдно-то! Сейчас, сейчас я наберусь храбрости и как в омут головой — на колени и лбом об дорогу! Но время шло, а слова все не находились. Если бы я там, в квартире на Сенной, могла догадаться, что когда-нибудь увижу душу Валеры в таком ослепительном блеске и величии, я бы с ним совсем иначе разговаривала. Но где ж мне, дура, было разглядеть, какой он на самом деле? Я ведь все их замечательное семейство видела как в тумане, ослепленная себялюбием, личными проблемами и болезнью.

А Валера шел рядом и щебетал как птица.

Наконец я решилась, потому что терпеть дальше не было никакой возможности.

— Валера! Мне тоже надо попросить у вас прощения! Знаете за что? Я нехорошо себя вела с вами...

— И слушать не хочу! — перебил меня Валера. — Пустяки все это. Вы потому переживаете, что вас ваша интеллигентская совесть изнутри под ребра толкает. Это наверняка мелочь какая-нибудь, слово там какое-нибудь нечаянное, которое вы мне за просто так сказали, а совесть, она ведь такая — придирается и гложет. Я это знаю, со мной такое каждый день бывало! Злого в вас нет ничего, а обидеть меня вы просто возможности не имели, некогда вам было: вы болели и что-то там личное переживали, видно ведь было, что вы в депрессии. Так что не будем копать, Ирина, а просто простим друг друга. Оптом, а не в розницу! Идет?

— Хитренький вы, Валерочка! Сами-то вон как подробно каялись!

— Да ладно вам! Бог простит и вас, и меня.

— Ой, как вы хорошо сказали, Валера! А теперь вы мне расскажите, пожалуйста, как вы к вере пришли?

— А я из нее и не уходил никогда, я ж вам говорил, что с детства в Церкви. — Тогда расскажите мне, Валера...

— Ох, не успею я уже ничего рассказать! Смотрите, видите, кто к нам летит?

— Кто? Где? Я ничего не вижу.

Валера остановился и стал смотреть куда-то в сторону; его лицо, на которое и так больно было смотреть, еще сильнее засияло. Он начал говорить с кем-то невидимым для меня, и говорил довольно долго. Почему-то я слышала его голос, но не понимала ни слова, а того, с кем Валера говорил, и вовсе не видела и не слышала. Я стояла рядом и терпеливо ждала. Потом Валера повернулся ко мне и сказал:

— Мой Ангел Хранитель поведет меня по другой дороге. Прощайте, Ирина! Как жаль, что приходится расставаться, но ведь тут не поспоришь...

— Валера, не уходите! Мне страшно одной на этой дороге!

— Ирина, дорогая, не могу! Прощайте! Молитесь как умеете! — И он стал быстро удаляться от меня по светящейся дороге, а дорога исчезала за ним, как будто он ее стирал за собой. Потом он превратился в маленькую светящуюся точку и пропал совсем, а я осталась одна.

Я вновь оказалась в темноте и побрела наугад, лишь бы не стоять на месте. Вокруг стояла глубокая тишина. Сейчас я была бы рада услышать даже рыжего гармониста. Интересно, неужели и его душа, если бы мне ее пришлось увидеть, оказалась бы такой же ослепительно прекрасной, как душа Валеры? А другие люди? Валера и вправду был очень симпатичным, и вот даже верующим оказался, но что я знаю про других людей? Разве я когда-нибудь задумывалась над тем, есть ли у них внутри нечто вечное и бессмертное, что гораздо важнее всех наших споров, ссор и взаимного недоверия? Может, и все те люди, которые «доставали» меня на Сенной своим шумом, обладают таинственной и прекрасной вечной душой? И гармонист, и торговец блатными песенками, и торговки «с колготами на все ноги»? Ох, я бы простила вам все мои недосыпы, только бы вы и вправду были здесь, на этой дороге, такие шумные и такие живые — другие люди, хотя бы и люди с Сенной площади. Неужели я тысячи лет буду вот так идти одна? Подумаешь, шумели! На то и живые люди, чтобы шуметь... Как же мы, оказывается, нуждаемся друг в друге. И ведь не догадаешься об этом, пока не окажешься в вечном кромешном одиночестве...

Вдруг послышались чьи-то шаги: кто-то меня догонял. — Эй, кто тут есть? Пойдите!

Я остановилась. Торопливые шаги едва не обогнали меня.

— Стойте! Я здесь! — сказала я, протянув руку в темноту. — Давайте вашу руку и пойдем вместе.

Я нашарила в темноте чью-то холодную ладонь и сжала ее. Рука была небольшая, с тонкими пальцами, — женская или детская.

— Кто вы?

— Ох, я и сама не знаю, в натуре! Я типа умерла и вот вдруг оказалась здесь, на этой как бы пустынной дороге. Мне сказали, что я должна идти конкретно все время вперед, а куда — не сказали. Вы знаете, где это мы типа находимся?

— Нетрудно догадаться, мы — на том свете. То есть для нас теперь уже на этом свете.

— Ох, а ведь мне моя прабабушка говорила, что человек как бы остается жить после смерти, а

я ей не верила, мне это все было типа по барабану. Я думала, умрешь — и все, больше практически ничего не будет. И вдруг — какие-то типа голоса, какая-то как бы дорога, как бы темнота. Страшно, блин! Хорошо, что я услышала впереди ваши шаги и догнала вас.

— Да, очень хорошо.

— А куда вы идете? — спросила моя попутчица.

— Я не знаю. Я просто иду вперед потому, что впереди дорога есть, а позади ее нет.

— Уау, точно! Сзади нас — ничего. Придется топать. Пойдем как бы вместе, хорошо?

— Мы уже идем.

— Интересно, а куда это мы идем?

— Понятия не имею. Одному человеку на этой дороге сказали, что он будет идти по ней до тех пор, пока не примирится со всеми, с кем встречался в жизни и кого обидел нарочно или нечаянно.

— Во, блин! Так этой дороге конца не будет!

— Ну, это, надо полагать, бывает по-разному. Давайте знакомиться. Вас как зовут?

— Наталья Звягина. Можно просто Наташа.

— А меня Ирина Рождественская.

— Мне ваша фамилия знакома, я ее как бы уже типа слышала. Может, вы при жизни были какой-нибудь знаменитостью?

— Вот чего не было, того не было.

— Ой, вспомнила! Ну вааще! Во, блин, обалдеть, в натуре! Я вам как бы скажу, где мы с вами типа познакомились, только вы на меня не обижайтесь. Нам теперь разборки, блин, ни к чему, верно? Мы ведь обе как бы дуба дали.

— Ну, так где же мы с вами встречались милая девушка?

— Вы недавно искали типа квартиру?

— Искала.

— Через агентство? Как бы по объявлению в газете?

— Совершенно верно.

— Агентство «Ника» помните?

— Да, было такое агентство...

— Так ведь вы через меня, блин, как бы конкретно прошли! Агентство «Ника» — это практически я и есть!

— Ах, вон оно что! А ну-ка, девушка, отпустите мою руку.

— Да вы что, типа сердитесь? За что?! За пятьсот рублей, блин? Мы ж умерли!

— Мне все равно, умерли мы или нет, но если вы мне не вернете сейчас же мои пятьсот рублей, я не знаю, что я с вами сделаю!

— А ничего, блин, вы мне не сделаете. Вы к мертвой-то что пристааете? Сама умерла так умерла. Где я вам здесь деньги найду, да и зачем вам тут практически эти несчастные пятьсот рублей? Тоже мне деньги...

— Вы мне противны, и мне все равно живая вы или мертвая. Да отпустите же мою руку!

— Да провалитесь вы, блин! Я и одна дойду куда там типа надо, а вас, лохов, учили и учить будут! Другая бы типа спасибо сказала за науку...

Я ускорила шаг, чтобы не слышать ее омерзительного жаргона и наглого липкого голоса. Но она все равно плелась за мной, на ходу неся какой-то вздор, перемежаемый уже и матюгами.

А я шла и вспоминала. Агентство «Ника», ну как же... А еще тихое благопристойное агентство «Уют» и, с ума сойти, агентство «Ромулетта»! Уйдя от Семена, я перебралась на время к маме и стала искать квартиру. Поначалу мне показалось, что нет ничего проще: я купила газету «Из первых рук», а в ней целые страницы были переполнены объявлениями о сдаче жилья. Меня поразила дешевизна предлагаемых квартир: мои коллеги на работе уверяли меня, что меньше чем за двести долларов квартиру не снимешь даже на окраине, а в газете было полно квартир за две-три тысячи рублей в месяц. Большинство квартир сдавалось через агентства. Я решила, что агентство — это звучит вполне надежно. Выбрав квартиру на Екатерининском канале, поближе к маме, жившей в начале Московского проспекта, я позвонила в агентство «Ника», и мне ответил голос, как теперь выяснилось, Натальи Звягиной. Я спросила, не сдана ли еще квартира на Екатерининском и можно ли ее посмотреть? Квартира была свободна, и Наталья сообщила мне адрес агентства «Ника» в одном из внутренних помещений Апраксина двора. Она подробно рассказала мне, как найти агентство, предупредив, чтобы я не пугалась: «Ника» переезжает в новое помещение, а в прежнем, уже почти пустом, временно из всех сотрудников осталась она одна. Еще она предупредила меня о том, что услуги агентства оплачиваются съемщиком и хозяином квартиры пополам, в размере платы за месяц, то есть я должна буду в случае удачной операции заплатить агентству тысячу рублей. Я согласилась на эти условия, хотя и вздохнула про себя: придется занимать у мамы больше, чем я намеревалась.

Прекрасные старинные торговые ряды за годы перестройки были превращены в такие трущобы, что по ним и ходить было опасно. Но ни ободранные галереи, ни обилие от руки написанных вывесок меня, глупую, не уstrasили: я добралась до двери, на которой висела картонка с надписью жирным синим фломастером «Квартирное агентство НИКА», постучала и вошла.

В огромной комнате стоял всего лишь один канцелярский стол, за которым сидела молодая девушка в строгом деловом костюмчике с немного глуповатым лицом, какие часто «носят» молодые женщины, порой скрывая под маской простодушной сексуальности деловую хватку и острый интеллект. Перед девушкой стоял монитор и два телефона, а сама она читала книгу. Усадив меня напротив, книгу она отложила. «Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла» — прочла я на обложке и тут же решила, что девушка, конечно, студентка, а в агентстве просто подрабатывает.

— Квартира в доме 69 на Екатерининском. Она должна быть свободна, а если ее вдруг сдали помимо нас, то я подберу вам другую в этом же районе. Сейчас я попробую дозвониться

хозяину на работу. Надеюсь, вы найдете с ним общий язык и придете к взаимному согласию.

Хозяин оказался на месте. Объяснив ему, что его квартирой интересуется молодая интеллигентная женщина, школьная учительница, Наталья передала мне трубку, чтобы мы могли договориться с ним о встрече. Мне и тут повезло: хозяин мог уже сегодня вечером встретиться со мной и показать квартиру. Я спросила, куда выходят окна квартиры: оказалось, что два окна комнаты выходят на канал, а кухонное — во двор. Квартира находилась на втором этаже.

— Ну, что, будем оформлять смотровую?

— Что такое «смотровая»?

— Это документ, который спросит у вас хозяин квартиры, когда вы встретитесь. Вы сами понимаете, какое сейчас время: нельзя пускать в свою квартиру человека с улицы. Паспорт у вас с собой?

— Да, конечно.

— Давайте мне ваш паспорт, я запишу в смотровую ваши данные и заверю нашей печатью. Наши услуги стоят тысячу рублей, но вы можете сейчас заплатить только половину. Вторую внесете уже после того, как мы составим договор с хозяином.

Я выложила пятьсот рублей и взамен получила смотровую — бланк, на котором был записан номер дома, но не указан номер квартиры, зато стояли инициалы и фамилия хозяина и мои паспортные данные. Я ушла, чрезвычайно довольная, а Наталья Звягина углубилась в чтение Ницше.

В семь часов хозяин у дома 69 на Екатерининском канале не появился. Не было его ни в половине восьмого, ни в восемь, ни в половине девятого. Странно, но к восьми часам свет горел во всех окнах всех квартир на втором этаже. Неужели я его пропустила? Или он зашел в квартиру, зажег свет и вот-вот спустится ко мне? Ну ладно, подожду еще немного... Словом, ждала я почти до девяти, а хозяин так и не пришел, зато пошел сильный дождь и я до нитки промокла. Вот тогда-то я, видно, и простудилась!

На другой день я позвонила в агентство «Ника», чтобы узнать, что случилось с хозяином квартиры, но телефон не отвечал. Я не поленилась еще раз заглянуть в Апраксин двор, но там уже не было ни самого агентства, ни его вежливой сотрудницы, ни томика Ницше, ни записочки на двери. Все оказалось обманом. Ну что ж, бывает...

И я отправилась в другое агентство под названием «Уют». Оно помещалось на проспекте Ветеранов, в девятиэтажном доме-башне со множеством контор, представительств и всякого рода агентств. Там меня облапошили по высшему уровню. Сначала все шло по тому же сценарию: звонок хозяину, наша с ним договоренность о встрече, мои пятьсот рублей. Но что-то подсказало мне, что можно поглядеть на указанный дом еще днем, пока светло. Дом был... — вот именно был! — на углу Вознесенского проспекта и Екатерининского, но сейчас его не было, и не было уже давно: дом был снесен, а строительная площадка, на которой возвышалось только два этажа строящегося здания, была обнесена забором. Возмущенная донельзя, я тут же, с ближайшего таксофона позвонила в агентство «Уют» и все им доложила. Там быстро нашлись:

— У вас записан номер 46? Ошибочка вышла. (Хорошо слышная реплика в сторону.) Татьяна! Ты опять номер дома перепутала! Клиент нервничает! Какой, говоришь? Номер 48? (Теперь

уже мне.) Вас будут ждать в семь часов у дома номер 48.

— Благодарю вас.

Я не поленилась и еще раз вернулась на то же место. Видимо, эти два номера были у одного здания — бывшего, потому что после забора шли уже пятидесятые номера... Вечером мне что-то совсем расхотелось идти на место встречи к несуществующему дому, как расхотелось и снова звонить в агентство с таким уютным названием. Я раздумывала, обратиться сначала за разъяснениями в редакцию газеты «Из первых рук» и дать там кое-кому по рукам или идти сразу в милицию, но меня отговорил наш физик.

— Да вы что, Ирина Владимировна! Газета по закону не отвечает за содержание объявлений, а милиция не может запретить вам платить деньги за услуги, которые вы покупаете. Вам захотелось заплатить пятьсот рублей за бумажку, в которой указаны ваши паспортные данные для предъявления хозяевам осматриваемых квартир? Ну, вот вы и заплатили. Ищите-ка вы лучше квартиру через знакомых, вернее будет! А то опять на лохотрон нарветесь?

— На что нарвусь? Как вы сказали?

— Эх вы, филологи! Лох — это вы, дорогая. Лохом сегодня зовется человек, которого ничего не стоит облапошить, надуть, обвести вокруг пальца. Лохотрон — процесс, посредством которого все это осуществляется. Распространенное явление нашей действительности. Попросту говоря, мошенничество чистой воды. Да будьте же вы хоть немного осторожней в этой жизни! И как это муж позволяет вам одной по улицам ходить, а не то что в деловые предприятия пускаться?

Но ведь я не угомонила! Проще говоря, я склонна была поверить, что мне просто не повезло с двумя агентствами, а что тут уже целая индустрия создана — этого я и представить себе не могла. Словом, я позвонила в третий раз. Очередное агентство называлось совершенно жутким образом — «Ромулетта» и помещалось в однокомнатной квартирке на Измайловском проспекте, на первом этаже хрущевской пятиэтажки. В квартире было страшно холодно. Бедная «лохотронщица» сидела за конторским столом с двумя телефонами, укутанная в огромный пуховый платок и отчаянно мерзла. На вид ей было не больше шестнадцати. Процедура повторилась с той лишь разницей, что к телефону подошел не солидный интеллигентный «хозяин», а «хозяйка» с таким же жалким голоском, как у самой Ромулетты. Квартира была на Московском проспекте.

— Я знаю этот район и этот дом. Скажите, это на той стороне, где булочная или где почта?

— Где булочная... — пискнула Ромулетта-вторая.

— Нет в этом доме ни булочной, ни почты. В этом доме находится милиция, где вами очень заинтересуются. Так вы продолжаете утверждать, что сдаете квартиру именно в этом доме?

— Я не знаю...

— Зато я знаю. Считайте, девочки, что вы с вашим лохотроном крупно прогорели. Можете закрываться: вы, девочки, уже обанкротились. Все!

Ромулетта схватила со стола брошенную мной трубку и громко заплакала в нее:

— Говорила я тебе, Катька, что ничего у нас не выйдет! Вот почти сразу и нарвались!

«Это еще неизвестно, кто на кого нарвался», — подумала я.

— Дайте-ка мне сюда трубку!

Она безропотно протянула мне телефонную трубку.

— Катерина, вы меня слушаете?

— Слушаю... — проплакала Ромулетта-вторая.

— Вы завтра же закрываете вашу лавочку, и не дай Бог вам открыть ее где-нибудь в другом месте! Этот бизнес не для вас, сестрички! Вы ведь сестры-близнецы, так?

— Близнецы-ы, — проплакала Ромулетта-первая. — А откуда вы знаете?

— Из вашего дела, естественно. Да-да, на вас уже дело заведено! Ну-ка, расскажите мне про ваших родителей.

— У вас же там, наверно, все записано!

— А я вот хочу тебя послушать.

— Ну, отца у нас никогда и не было, а мать умерла пять лет назад.

— Кто же вас воспитывал?

— Тетя Соня. Они с нашей мамой тоже близняшки были. И она тоже умерла полгода назад. Это вот ее квартира. Мы живем вместе с Катей в нашей квартире, которая от мамы осталась, а тети-Сонину квартиру сначала продать хотели, а потом вот решили агентство открыть, подзаработать.

— И давно вы так «трудитесь»?

— Три месяца.

— Много заработали?

— Шесть тысяч. Только на питание хватило. Мы даже еще не вернули то, что отдали «за крышу». Как только мы напечатали объявление, рэкетеры первые явились и потребовали деньги.

— Сколько вы отдали «за крышу»?

— Десять тысяч.

— Так. Теперь, Катерина, вы подождите, а я задам эти же вопросы вашей сестре. Если ответы ваши совпадут, будем разговаривать дальше, а если нет — разговор будет продолжен в ФБМ.

— А что это — ФБМ? — спросила та, и я услышала по голосу, что она еще больше испугалась, хотя, кажется, уж дальше некуда было пугаться.

— ФБМ — это Федеральное бюро по делам молодежи.

Потом я расспрашивала вторую. Ответы сестер совпали все до единого. Вовремя я их захватила! Заодно я узнала, что Ромулетту-первую зовут Надеждой. Теперь можно было подводить итоги.

— Ну, вот что я вам скажу, сестрицы-мошенницы. Вы, девочки, лохотрон свой прекращайте немедленно, поскольку вы сами оказались лохи порядочные, и устраивайтесь на любую работу, хоть на самую грязную. Самое большее через неделю вас опять проверят, и, если вас опять поймут на чем-то подобном, пойдете за решетку, это я вам гарантирую. Квартиру мамину ни в коем случае не продавайте. Сдайте ее и заключите договор на три года, чтобы не было соблазна продать. Через три года ожидается резкое повышение цен на жилье. За три года вы все, что сегодня выручите за проданную квартиру, уже проедите без остатка. А плата от жильцов поможет вам ее сохранить. Если не слушаетесь меня, а я в этих делах крутой специалист, то через три года будете локти грызть, что проели пятьдесят тысяч долларов!

— Пятьдесят тысяч долларов! — пролепетала Надежда.

— Если не больше. Но еще обидней будет, если вы сядете по новой статье Уголовного кодекса за лохотрон, которая уже готовится, и ваша квартира попросту отойдет государству. Я все понятно вам объяснила?

— Понятно, тетенька...

— В таком случае разговор окончен. Я встала и покинула агентство «Ромулетта», стараясь, чтобы походка моя выглядела «милицейской».

Вот такой воспитательной акцией кончилось мое знакомство с тружениками лохотрона. Знать бы только ее результаты...

* * *

А пока я предавалась этим воспоминаниям, Наталья так и тащилась за мной в темноте, злобно поливая матом и меня, и прочих «лохов» за нежелание войти в ее положение.

— Дорогая! — не выдержала я наконец. — Ты мошенничеством выманила у меня пятьсот рублей. Между прочим, это четверть моей зарплаты. Чего же ты теперь от меня хочешь? Какого понимания и сочувствия?

— Да какие пятьсот рублей вааще, какая, в натуре, зарплата? Ведь мы обе как бы умерли! Чего нам теперь делить?

— Как это чего? Наше посмертное существование. А я его не хочу делить с тобой. Понятно тебе?

— Подумаешь, крутая в натуре...

Я ускорила шаг, но сразу же услышала, что Наталья тоже поспешно сделала то же самое.

— Ты отстанешь от меня или нет?

— Ну, вааще... Вам что, блин, тесно на дороге?

— Конечно, тесно, оладья! Неужели ты не понимаешь, что это такое, когда не можешь быть рядом с человеком, ходить с ним по одним дорогам, дышать одним воздухом?

— Брезгуете мной, значит?

— Да! Ты совершенно правильно определила мое отношение к тебе. Я чувствую, что даже разговаривать с тобой — негигиенично.

Молчание.

— Все теперь так говорят...

— Ты это о чем?

— Я знаю, вам не нравится, как я разговариваю. Я про блин, а вы про оладью...

— Мне все в тебе не нравится. Даже твой интерес к Ницше.

— А, сработало! Это ведь вы про книжку, которая у меня на столе лежала?

— Да. Вот только попробуй соврать, что в самом деле ее читала!

— Конечно, нет! Это мне шеф ее сунул и велел в руках держать, когда клиент в контору входит.

— Ну вот, теперь понятно. Что хоть за книгу-то ты читала?

— Не помню. Там на обложке что-то про Добро и зло было написано.

— Господи, уж название-то можно было как следует запомнить! Эта работа Ницше называется «По ту сторону добра и зла».

— Во-во, так она и называлась!

— И зачем вам, таким вот, Ницше, когда вы на практике до всего сами доходите? Ты хоть понимаешь, что сама оказалась по ту сторону добра и зла?

— Чего ж не понять, в натуре. Тут ведь даже света нет, какое уж добро.

— Я не про сейчас говорю. Интересно, Наташа Звягина, а что ты считаешь добром?

— А то вы не знаете? Добро — это бизнес, недвижимость и главное — деньги, конечно! Лучше всего баксы.

— Экая же ты троглодитка, Наталья! А что ж в таком случае, по-твоему, зло?

— А вот когда не ты, а у тебя отнимут баксы — вот это и есть зло.

— Нет, ты не просто троглодитка — ты каннибалка!

— Меня ругаете, а сами вон какими словами выражаетесь — непонятой сплошные!

— Ты, между прочим, тоже употребляешь непонятные для меня слова. Но я-то свои слова могу объяснить, в отличие от тебя. Все эти «крутые», эти «новые русские», и сами не знают значения и половины тех слов, которые употребляют, не говоря уже об этимологии...

— Ну, вы вааще даете: эти мологии, те мо-логии... Троглодиты, каннибалы какие-то... Это, по-вашему, русский язык? Сами не знаете, что говорите!

— А я тебе объясню, что я сказала: троглодит — это первобытный пещерный человек, а каннибал — людоед.

— Оскорбляете, значит... А мологии — это кто?

— Кто-кто?

— Ну, вы вот сказали: эти крутые, эти новые русские, эти мологии... Чего смеетесь-то?

— А ты что, разве обижаешься, когда над тобой смеются?

— А то!

— Уже легче. Я вот чего не пойму, Наталья Звягина: когда я к тебе в агентство пришла, ты ведь со мной совсем другим языком разговаривала, человеческим.

— Шеф составил для нас разговорник аж на три страницы и велел выучить. «Я полагаю, вы с хозяином квартиры найдете общий язык и придете к обоюдному согласию». Он, этот разговорник, у меня в столе лежал: если надо чего вспомнить — выдвинь ящик и загляни.

— Замечательно. А без шпаргалки ты не можешь разговаривать нормальным человеческим языком?

— Да что вы, вааще, измываетесь надо мной, в натуре? Что я, не человек, что ли? Как умею, так и говорю.... мать!

— Наталья, если ты хочешь, чтобы я с тобой разговаривала, то, прошу тебя, давай без этих идиом.

— Опять ругаетесь. Я вот не говорю слов, которых вы не понимаете!

— Наталья, да ты сама не понимаешь половины слов, которые произносишь.

— Это как это?

— Да вот хотя бы этот «блин». Что это за блин такой? Где его пекут и с чем его едят?

— Да просто все так говорят, для связки слов.

— А к настоящим блинам какое отношение имеет этот «блин»?

— А кто ж его знает...

— Так вот, моя дорогая, послушай теперь меня. Ваш «блин» появился в те времена, когда приличия в языке еще старались соблюдать. Изобрели его мужики, ругающиеся матом, для тех случаев, когда рядом находятся дети, женщины или даже начальство, чтобы и душу отвести и не произносить вслух ругательство на букву «б».

— Ну да, блин!? Ну, вы даете... Это ж надо, вот никогда бы не подумала. Интересно!

— Тебе в самом деле интересно?

— А то!.. А можно я опять рядом с вами пойду?

— Избави Бог!

— А вы в Бога-то верите?

— Верю.

— Плохо вы в Него верите! Вот моя прабабка была верующая, так она всех прощала и никогда ни на кого не сердилась.

— Хорошая у тебя была, значит, бабушка?

— Да не бабушка, в натуре, а ПРАбабушка! Бабка-то у меня так себе была, училка вроде вас. Я ее и не знаю почти, ей некогда было внучкой заниматься. А баба Ньюра и ее нянчила, и мою мать и меня еще успела! Так вот она на людей сердиться как бы совсем не умела. Это была такая типа святая женщина!

— А где сейчас твоя баба Ньюра? Жива она?

— Давно померла, когда я еще в третьем классе училась.

— Она на пенсии была?

— На пенсии.

— Мне один знакомый учитель, когда я пожаловалась в учительской, как ты меня обманула, рассказал, что есть такие «лохотронщики», которые специализируются на старушках-пенсионерках. Являются к ним на квартиру в день получения пенсии, разыгрывают с ними какие-то фальшивые лотереи и выманивают их жалкие пенсии целиком, оставляя одиноких старушек без копейки в кошельке.

— Ну, блин, я б таких поубивала!

— А к тебе в агентство, надо полагать, приходили снимать квартиры исключительно новые русские, у которых денег куры не клюют? Ты им особняки за две тысячи рублей в месяц рублей предлагала в Англии или на Бермудах.

Молчание.

— Я не понимаю, Наталья, твоего возмущения: пока учитель работает за две с половиной тысячи рублей, его обчищают агентства типа вашего, а когда он выходит на полуторатысячную пенсию — его чистят ваши еще более оборотистые коллеги. За что же ты их убивать собираешься?

— Ирина, а как ваше отчество?

— Владимировна.

— Ну, так, блин, простите вы меня, Ирина Владимировна, ради Бога!

Я вспомнила Валеру и его формулу прощения, но долго, ох долго не поворачивался у меня язык! Наконец я выдавила из себя:

— Хорошо, Наталья Звягина: Бог простит и тебя, и меня.

— Спасибо! А теперь можно я рядом с вами пойду?

— Нет! Я тебя простила, но дела с тобой иметь не хочу!

— Атак нечестно! Баба Ньюра говорила, что прощать надо так, как Бог прощает: что прощено — того как бы и не было!

Господи, и все-то меня сегодня учат верить Тебе, и все от Твоего имени!

— Ладно, иди рядом! Пятьсот рублей забыты, но сделай милость, постарайся говорить со мной по-человечески.

Она приблизилась и опять схватила меня за руку. Экое непутевое и несчастное существо! Может, после бабы Нюры ее уже и учить уму-разуму было некому... Невежество ее было необозримо! Хуже всего обстояло дело с нравственностью. Мне даже с помощью разговоров о бабушке не удалось ни на йоту сдвинуть ее с места: она стояла на том, что ее баба Нюра — исключение, а все остальное человечество готово на все ради денег, а потому она бабу Нюру помнила и любила, но жила по-волчьи, как все! Мне никак не удавалось поколебать ее «убеждения», и я решила пересказать ей «Бедных людей» Достоевского. Ну и удивила же она меня!

— Ирина Владимировна, так я типа не понимаю, чего ж ей надо-то было? Она ж своего добилась, вышла замуж за богатого! И этот Деточкин... А нет, Девушкин! — чего он девушку с пути-то сбивал? Был бы еще молодой, красивый...

— Как все запущено, Боже мой! — покачала я головой. И принялась пересказывать «Преступление и наказание»...

Мы долго, очень долго шли и разговаривали в темноте, а потом вдруг увидели, что пространство вокруг нас начало светлеть, дорога под ногами стала проступать сквозь тьму белесой длинной полосой. Случилось это тогда, когда мы заговорили о Евангелии. Я только что пересказала сцену чтения Евангелия Сонечкой Мармеладовой, рассказала про воскрешение Лазаря. Тут Наталья спросила, а читала ли я сама Евангелие, хорошо ли я его знаю? Как всякий человек, считающий себя интеллигентным, я прочла Новый Завет, потратив на это целую ночь и делая какие-то выписки; я посчитала, что этого достаточно, чтобы впредь иметь право при случае заметить, что Евангелие мною изучено. Так я Наталье и заявила: изучала, мол.

— Тогда объясните мне, как мог Отец Христа допустить Его распятие! Он же мог всех этих распинателей в асфальт закатать!

— Тогда не укладывали асфальт по дорогам.

— Ну, так просто в лепешку расшибить! Зачем надо было, чтобы Христос погиб за людей?

— Говорят, затем, чтобы обезвредить их грехи и дать им возможность спасти свои души.

— За какие грехи?

— За любые и за все. За мои, за твои...

— Вот лично за мои?

— Думаю, да.

— Значит, Христос отдал жизнь за то, чтобы снять с меня те пятьсот рублей?

— Ох, Наташка, отстань! Я сама во всем этом плохо разбираюсь. И забудь ты, наконец, про эти несчастные пятьсот рублей! Не ходила я в агентство «Ника», а ты там не сидела с Ницше в руках! Не было этого!

— Не было?

— Не было, не было! Угомонись Христа ради!

Я внимательно поглядела на Наталью: в редющем сумраке ее взволнованное лицо проступало все четче, и я с удивлением заметила, что нет в нем никакой тупости, ни природной, ни «социально приобретенной» а оно очень даже милое, живое и с умными ясными глазами.

— Теперь ты можешь отпустить мою руку, Наташа. Мы видим дорогу и даже друг друга.

— Да я уже не от страха держусь за вашу руку, Ирина Владимировна, а по дружбе. Вы такая хорошая и умная! Лучше вас была только моя баба Нюра.

— Чем же она была лучше меня?

— Так ведь она была умней и культурней вас, вы уж не обижайтесь, Ирина Владимировна.

— Ну, вот ты бы и рассказала мне, чем баба Нюра была умней и культурней меня.

— Вы не обидитесь?

— Не обижусь, обещаю.

— Тогда я скажу. Ну, умнее вас она была потому, что верила в Бога. Она-то все и про Него, и про жизнь и смерть понимала. Я слышала, как она говорила своим подругам, таким же старушкам: «Нам, милые мои, главное теперь к смерти подготовиться. Умирать ой как не просто! А уж после смерти, если на земле не готовился, совсем худо придется». И знаете, как она сама к смерти подготовилась? В ящике комода у нее лежала одежда, в которой она велела себя положить в гроб, и деньги на похороны, на поминки и на крест. Остальные ящики были пустыми — она все раздала еще за месяц до смерти. Оставила себе только постель и одну смену белья. На ней была ночная рубашка, и под кроватью стояли тапочки, и это все, что она себе оставила: даже свой халат она подарила соседке, как только перестала сама вставать в уборную. Бабульки, ее подружки, тайком привели к ней священника, и он ей отпустил грехи за всю жизнь. И в ту же ночь она умерла во сне, никто до утра и не заметил. Ну, скажете, что она не умная?

— Конечно, умная. А в чем выражалась ее высокая культура?

— А вот в чем. Я ее как-то спрашиваю: «Баба Нюра, ну, скажи по правде, ты за свою жизнь хоть раз кого-нибудь «дураком» назвала?» Знаете, что она мне ответила? Ну, вот ни за что не угадаете! Она мне ответила так: «Если бы я дурака когда-нибудь встретила, может, и назвала бы». Для нее не было ни дураков, ни воров, ни злодеев, а были только несчастные. Я вот думаю, Ирина Владимировна, что вот такая ее любовь ко всем людям без разбору — это и есть культура. А теперь можно я задам вам один вопрос?

— Можешь. Я еще не совсем устала от твоих вопросов.

— Вы совсем простили меня за те пятьсот рублей?

— Дело не в деньгах, Наташенька.

— Я понимаю. Я хотела спросить, если мы куда-нибудь придем и нам придется расстаться, вы не будете меня вспоминать как мошенницу?

— Ну конечно нет, девочка! Я буду вспоминать, как мы с тобой шли по этой пустынной дороге и беседовали о «Бедных людях» и о Раскольнике, о Сонечке Мармеладовой, как ты мне рассказывала о своей прекрасной бабе Нюре. И при этом говорила ты нормальным русским языком!

— Спасибо. Я тоже никогда вас не забуду, Ирина Владимировна. Я многое поняла о жизни благодаря вам, и теперь, если бы мне дали еще одну жизнь, я бы жила совсем по-другому.

— Прости и ты меня, Наташа.

— А я-то вас за что должна прощать? Вы мне никакого зла не причинили.

— Я презирала тебя и в той жизни не хотела бы иметь с тобой ничего общего. Нам пришлось столько пройти по этой дороге во мраке, чтобы понять друг друга и полюбить.

— Так вы тоже меня любите, Ирина Владимировна?

— Конечно. Пожалуй, я люблю тебя больше всех своих учеников, оставшихся там, в той жизни.

— Ирина Владимировна, а можно я вас поцелую?

— Конечно, родная!

Мы трижды расцеловались и хотели идти дальше, но тут увидели, что от основной дороги вправо отходит узкая дорожка, почти тропинка. Откуда-то сверху прозвучал громкий и ясный голос, но слов я не поняла, зато увидела в небе над нами светлую фигуру неясных очертаний, с двумя широкими крылами.

— Ой, Ирина Владимировна! — сказала Наташа, глядя вверх сияющими глазами. — Это мой Ангел Хранитель, он говорит, что я должна теперь идти по правой дороге. Мне так не хочется с вами расставаться, но я чувствую, что должна послушаться.

— Иди, милая, и храни тебя Господь!

— И вас тоже, Ирина Владимировна. Я вас никогда не забуду, я за вас молиться буду!

Наташа пошла по правой тропе, поминутно оглядываясь на меня. Мы махали друг другу рукой, пока она не скрылась за каким-то смутным светлым холмом, едва проступающим из серого тумана.

Я снова долго шла почти вслепую, едва различая под ногами дорогу, и вспоминала всю историю своего знакомства с Натальей, от «Ники» до встречи с Ангелом Хранителем.

Слева от дороги вдруг послышался девичий смех, негромкий, но звонкий, словно небольшой колокольчик. Ему ответил другой колокольчатый голос, от первого почти не отличный, но слов я не разобрала. Туман на левой стороне дороги чуть-чуть рассеялся, и стала видна неширокая дорога, вливавшаяся в мою; я почти не удивилась, когда навстречу мне из тумана, держась за руки, вышли обе Ромулетьы.

— Это мы! А мы вас давно тут поджидаем! Здравствуйте! — наперебой затараторили они, подбегая ко мне. Личики их сияли, и сами они были какие-то новенькие, отмытые, с ясными глазами.

— Ну, здравствуйте, девочки, Катя и Надя! — Я сразу вспомнила их имена, потому что звать их

Ромулеттами мне никак не хотелось. — Вижу, что у дела ваши наладились и у вас теперь все в порядке. Одна ухватила меня под правую руку, другая под левую, и мы пошли вперед по моей дороге, светлевшей с каждым нашим шагом. Сестры рассказали мне, что произошло с ними за это время. Во время их рассказа я поняла, что и со временем теперь происходит что-то непонятное: в реальности недели две прошло со времени моего посещения агентства «Ромулетта», а Надя и Катя рассказывали о том, как трудно жилось им первый год после закрытия агентства: и работу не сразу нашли, и с рэкетирами не сразу удалось разобраться. По их рассказам выходило, что до нашей встречи на этой пустынной дороге прошло лет пять, не меньше. Девочки за это время выросли и поумнели. Первый год они держались за счет страха, бедные, уж очень я их напугала. Они были уверены, что «тетка из милиции» следит за ними, и даже рассказывали одна другой, что встречали меня то там, то здесь — будто бы я за ними следила. Все у них наладилось: и квартиру сдали удачно, и работа нашлась по душе — пошли в ученицы в большую парикмахерскую. И друзья у них появились приличные, ведь от всяких там «лохотронщиков» они бежали как от огня. Через три года они продали тетину квартиру именно за пятьдесят тысяч долларов — я оказалась пророчицей, и на полученные деньги открыли собственную маленькую парикмахерскую. А потом они обе вышли замуж, да еще как! За братьев-близнецов. А дальше случилось самое чудесное: у них родились у каждой по паре близнецов, у Кати — девочки, у Нади — мальчики. Наследственность! Однажды сестры пошли в районное отделение милиции, чтобы разыскать меня и поблагодарить, и узнали, что никакого ФБМ в природе не существует.

— Это ведь вы сами придумали, да? — спросила, смеясь, Катя.

— Сама. Простите меня, девочки! — Я поклонилась им чуть ли не в ноги, так они меня обрадовали!

— Да что вы! Это вам большое спасибо! Это мы должны были у вас прощенья просить — за то, что обмануть вас хотели. Мы стояли тут и ждали, когда вы появитесь, нам так приказали.

— Кто приказал?

— Да наши Ангелы Хранители!

— Ах, вот как...

Хотелось мне еще с ними поговорить, порадоваться за них, может быть, немного погордиться, что это именно мне удалось направить их на путь истинный, но тут справа появилась дорога в тени больших берез, и сестрички сказали, что им велено теперь идти по ней. — Добрый вам путь, девочки!

— Прощайте и спасибо за все!

Ну вот, история с лохотронщицами, Наташей, Катей и Надей, закончилась. Что теперь? Кто следующий появится на этой пустынной дороге? Бывший муж? Моя мамочка, которая никогда меня не понимала? Мои ученики-озорники? Рыжий певец с Сенной? Кто бы ни появился, с каждым придется разбираться до тех пор, пока не сумеем простить друг друга. Господи, сколько же работы пришлось на мою вечность! Если бы знать все заранее, можно было бы главную ее часть совершить еще при жизни...

И тут я тоже услышала голос своего Ангела Хранителя, и голос этот был почему-то очень знакомый:

— Ирина, проснитесь, пожалуйста! Так я что, сплю, выходит?!

А голос продолжал:

— Придется ее разбудить. — Теперь я узнала голос моего соседа Валеры. — Антибиотик надо принимать по расписанию.

Вслед за тем я услышала голос его жены Леночки:

— Ирина, Ирочка, вы меня слышите? Откройте глаза, пожалуйста! Надо принять лекарство и температуру измерить.

Я открыла глаза и почувствовала себя очень слабой, как будто и впрямь прошла тысячи километров, но при этом абсолютно здоровой, а главное — в прекрасном настроении. За приоткрытым окном шумела Сенная площадь. Господи, ну и сон мне приснился!

Валера стоял надо мной, держа в одной руке десертную ложку, а в другой — бутылку микстуры от кашля.

— Валера! Леночка! Как я рада вас видеть!

— Воистину давно не виделись! — засмеялся Валера. — Вы знаете, Ира, сколько вы проспали? Почти сутки! Мы пытались несколько раз вас будить, но вы спали как мертвая.

— А я и была мертвая, — улыбнулась я.

— Не надо так шутить! — сказала Леночка и погрозила мне градусником.

Дом на сенной

Наталья и Ульяна были знакомы, но знакомство было не очень чтобы тесным: когда о нем спросили, Наталья назвала его «просто шапочным», а Ульяна — «чисто светским». Но знакомство все-таки состоялось, иначе не было бы и нашей истории.

Начнем с Ульяны. Она была русской эмигранткой в третьем поколении: дед Ульяны был полковым священником и ушел с молодой попадъей от большевиков через Крым, отец родился в Берлине, вырос и стал священником РПЦЗ, ну а мать была соответственно матушкой и происходила из дворянского сословия. Ульяну воспитывали в Православии и любви к родине с младенчества, вот и выросла посреди Германии настоящая русская девушка, культурная, образованная, православная и, конечно, российская патриотка. Вот только по-русски говорила с изрядным акцентом: когда она первый раз приехала в Россию, ее часто принимали за девушку из Прибалтики, тем более что и внешне она на эту роль вполне подходила — высокая блондинка с голубыми глазами, полноватая, медлительная и с западной повадкой. Училась Ульяна на искусствоведа и еще до поездки в Россию интересовалась «русским художественным андеграундом», а потому, приехав в Петербург (тогда еще Ленинград), принялась носиться по выставкам авангардистов, по мастерским неофициальных художников, купила у них несколько картин, пила с ними водку, спорила о политике, об искусстве и имела в их среде бешеный успех. Художники наперебой писали портреты «поповны», дарили их ей безвозмездно, но не забывали при этом заказать в следующий приезд привести кисти, краски и джинсы. И начались ее регулярные ежегодные поездки в Россию (тогда СССР): Ульяна побывала в Троице-Сергиевой Лавре и в нескольких действующих храмах Москвы, в Ленинграде походила по превращенным в музеи Казанскому и Исаакиевскому соборам, съездила в Псков-Печорский монастырь, ну и по «Золотому кольцу» проехала. В основном она крутилась в Ленинграде: очень полюбился ей город, в котором родились ее бабушка и дед; она звала его «своей

исторической родиной» и даже отыскала дом, в котором они жили. А круг ее знакомств составляли неофициальные художники, литераторы и даже какие-то диссиденты. Вот тогда-то она и познакомилась с Натальей, кажется, на какой-то полуподпольной квартирной выставке. Сидели они рядом за столом, понравились друг дружке, разговорились, поговорили да и разошлись.

Вскоре Ульяна вышла замуж, через год родила двойню сыновей, и на этом ее путешествия на родину временно прекратились. А затем наступила «перестройка», и Ульяна стала с жадностью ловить вести, доходящие с родины, хотя ездить туда из-за детей пока не могла. Зато она занялась «гуманитарной помощью», причем не одна, а со всем своим приходом. Они отправляли машинами помощь — продукты, медикаменты и одежду — то в Спитак, переживший землетрясение, то в районы с выселенными чернобыльцами, то в Москву и Питер. И вот тут-то выяснилась мерзейшая особенность того времени: «гуманитарка» не доходила до адресатов даже когда машины шли с сопровождающими — все начинали разворовывать еще на таможне, грабили по дороге и окончательно растаскивали уже на местах. Это было отвратительно и почему-то очень-очень стыдно. Многие из бывших энтузиастов просто бросили заниматься этой благотворительностью: «Все равно все украдут и продадут, люди из этого бизнес устроили!» К этому времени, кстати сказать, уже провалился августовский путч 1991 года, СССР благополучно (пока благополучно, то есть без крови) распался и даже Ленинград стал снова Санкт-Петербургом. Демократии было — большими ложками хлебать, только вот люди бедствовали еще больше.

— Папа! — обратилась Ульяна к отцу. — Да что же это стало с нашим народом? Ведь у себя воруют! Как же так можно? И что же нам-то делать, как людям помочь? Ведь не можем мы сидеть сложа руки, когда на родине люди буквально голодают!

— Не можете. Найдите способ так организовать помощь, чтобы она попадала конкретным людям прямо в руки, — посоветовал отец Кирилл.

— Папочка, ну подскажи что-нибудь, ты же умный! — взмолилась дочь. И отец Кирилл подсказал.

— У тебя ведь есть знакомые в Петербурге? Попроси их найти конкретных стариков и инвалидов, ну, скажем, жителей какого-то квартала или даже одного дома, и посылайте помощь либо посылками на их имена, либо через надежных людей. Возьми хотя бы дом, в котором жили твои дедушка и бабушка, отец Константин и матушка Юлиания.

— Спасибо, папа! Это, кажется, выход! — обрадовалась Ульяна. Она и дом этот видела и знала — огромный шестиэтажный многоквартирный дом, фасадом выходивший на Сенную, а двумя другими сторонами (дом был построен «утюгом») — на Екатерининский канал и Демидов переулок. (Дедушка занимал квартиру в бельэтаже с видом на канал.)

Она обратилась за советом к одному прихожанину, недавнему эмигранту из России:

— Скажите, а есть какой-нибудь способ узнать, кто из стариков, живущих в конкретном доме, нуждается в помощи?

— Нет ничего проще! — ответил эмигрант. — Надо просто пойти в райсобес и спросить.

— А что такое райсобес, это от слова «рай» что ли? А «бес» тут при чем?

— От слова «район»! — засмеялся тот. — И бесы тут ни при чем: райсобес — это районный отдел социального обеспечения.

— Понятно! — сказала Ульяна и стала думать дальше.

А теперь надо рассказать о Наталье, потому что скоро им предстояло вновь встретиться с Ульяной.

В это самое время Наталья переживала не то чтобы кризис, а полное крушение личной жизни: ее с маленьким сыном оставил муж. Ладно бы просто муж, а то ведь бывший соратник и поделщик, с которым у них был этакий «диссидентский роман»: один подпольный журнал выпускали, в одно время и по одному делу сели, одновременно в лагерях срок отбывали, правда, в разных концах страны. А потом в один день вышли раньше срока по тихой, полутайной горбачевской амнистии 1986 года, вышли и на радостях тут же поженились. Жили трудно, бедно, почти впроголодь, как и половина Питера жила тогда. И вот через пять лет, в 91-м году, муж ее вдруг выходит в начальство, становится депутатом Государственной думы, немедленно бросает свою «диссиденточку» и женится на молоденькой дочери перестроившегося крупного партийного босса. Обидно и противно было Наталье. А здоровье-то подорвано в тюрьме, на этапах и в лагере, нервишки никуда не годятся — и въехала она с горя в тяжелейшую депрессию. Сидит у себя в однокомнатной квартирешке на девятом этаже дома-башни в Дачном, изредка что-то зарабатывает на хлеб перепечаткой текстов (благо за годы самиздата поднаторела в машинописи) и даже не пытается выйти из этого штопора. Сына она еще как-то ухитрялась кормить по-человечески, а сама питалась просто безобразно. Растолстела с хлеба, кефира и картошки да сидячего образа жизни, перестала даже политикой интересоваться, не говоря уже об искусстве. В общем, покатила под горку... И вот тут-то появилась Ульяна со своими идеями направленной гуманитарной помощи!

Вернее, Ульяна не появилась сама, а стала обзванивать своих питерских знакомых: «Не знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы на месте разносить по нашим подопечным одежду, деньги и продукты? Нужен абсолютно честный и надежный человек». И кто-то вспомнил про Наталью.

Да, я ведь упустила одну важную вещь: до того Ульяна через знакомых нашла одного питерского художника-инвалида, обитавшего в районе Сенной площади, который сходил в «райскую организацию» и получил там список одиноких стариков и инвалидов, живших в дедовском доме. А еще ее связали с одним дельцом, перегонявшим старые автомобили в Петербург для продажи, и тот за небольшую цену согласился перевозить в своих автомобилях гуманитарную помощь. Только потребовал, чтобы у него при себе было письмо на церковном бланке за подписью священника и с печатью, в котором указывалось бы количество мешков с одеждой и ящиков с продуктами. «Чтобы на таможне не украли, а вы бы потом с меня не спрашивали!» — пояснил он. Оставалось найти человека в Петербурге, и таким человеком стала Наталья. Узнав про помощь голодающим пенсионерам, она согласилась без раздумий.

Как она работала! Она не только составила подробный список нуждающихся из дома на Сенной, но всех обошла, познакомилась, расспросила и написала о них все подробности: возраст, размеры одежды и обуви, жилищные условия, болезни... По этим данным Ульяна составила картотеку и стала вписывать прямо в карточки, кто в чем нуждается и кому что отправлено. Авто делец перегонял свои машины раза два в месяц, на него работала целая шоферская бригада, так что за месяц удавалось каждому подопечному оказать помощь деньгами, продуктами и одеждой. В основном это были старушки, стариков на полсотни человек было всего трое. Наталья сумела уговорить их не бояться писать письма в Германию, и, как только пришли первые благодарственные письма, зарубежники воспрянули и бросились им помогать изо всех сил. Некоторые даже ездили в Петербург и ходили к ним в гости на чай. И тащили с собой полные сумки, конечно.

Однажды кто-то из прихожан принес очень хорошую детскую одежду, из которой вырос сынок.

— Может, там кому-нибудь пригодится?

— Да уж не пропадет! — засмеялась Ульяна. — Старушки наши кое-что из присланных вещей продают, им ведь еда и лекарства важнее хорошей одежды, так что и ваши вещички они пристроят.

Но неожиданно позвонила Наталья. Вообще-то она звонила редко, потому что это было недешево.

— Слушай, Уль, вы тут детские вещи прислали, а они как раз на моего Максимку: можно я возьму кроссовки и джинсики для него? Совсем у меня парень обносился...

Ульяна вспыхнула от стыда — хорошо, что по телефону не видно! — и сразу же нашлась:

— Ох, прости, я забыла написать: эти вещи все для твоего сына.

При следующем сборе денег она объявила прихожанам, что Наталья в Петербурге одна делает громадную работу, таскается с сумками по лестницам шестиэтажного дома и пора бы уже выделить ей какие-то хоть небольшие деньги от тех, что она распределяет между подопечными. Все только удивились, что это не сделано сразу. Рассказала Ульяна и о просьбе Натальи, и с тех пор время от времени народ стал что-то подкидывать специально для маленького Максима — игрушки, одежду, сладости...

Как-то Ульяна сообразила, что любому работнику полагается отпуск, и прислала Наталье приглашение. Та приехала с сыном на недельку погостить в Немецтину. Встречая ее на вокзале, Ульяна поразились: сколько лет не виделись, а Наталья не изменилась, вроде даже похорошела и помолодела — стройная, статная, ясноглазая, настоящая русская красавица!

Так прошло несколько лет. Часть старушек умерла, как говорится, по возрасту, кто-то ушел жить в дом престарелых. Пенсионерам стали прибавлять пенсии, особенно блокадникам, а в доме на Сенной почти все были блокадники, и тогда о них вспомнили родственники. Постепенно «контингент» сокращался. К этому времени и торговля подержанными автомобилями сошла на нет, кончились регулярные оказии. И решено было помощь последним двенадцати старушкам распределить по семьям и на этом «организованную гуманитарную помощь» на Сенную прекратить. Приход занялся другой благотворительностью — стали помогать больным детям в России. А Наталью под занавес опять пригласила в гости Ульяна.

Как-то они сидели на веранде священнического дома (Ульяна с мужем и детьми жили под родительским крылом), пили чай и беседовали обо всем понемногу.

— Ульяна, я все хочу тебя спросить. Скажи мне честно, кто надоумил тебя помочь мне в тяжелую минуту?

— Не понимаю? — искренне удивилась Ульяна. — Когда и чем я тебе помогала? Вроде бы все наоборот было.

— Ну не случайно же ты тогда заставила меня бегать по лестницам твоего дедовского дома! Это ведь тебя кто-то специально напустил на меня?

— Все равно не понимаю!

— А ты что, не знаешь, в какое время ты обратилась ко мне за помощью? Я же тогда буквально загибалась, у меня была депрессия, доходящая до маразма. А эти старушки меня просто

спасли тогда.

— Прости, я не знала...

— Правда-правда не знала?

— Истинная правда.

— Надо же! А получилось «спасение утопающей в горе — через спасение утопающих в нищете».

— Хочешь изжить свое горе — помоги тому, кто сам себе помочь не может! — нравоучительно изрекла Ульяна.

Все-таки она была настоящая поповская дочка.